

Семен Венгеров

**Иван Иванович
Лажечников**





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

«Ни одно столетие европейской истории не начиналось таким страстным и всеобщим подъемом национального чувства, как наше. В полную противоположность XVIII веку, всецело направленному на выработку общечеловеческих формул социальной и политической жизни, в полную противоположность его желанию отрешиться от всяких условий места и времени и только на основании требований сухой и абстрактной теории устроить государственный и общественный быт, наконец, в полную противоположность тому пренебрежению, с которым европейские народы XVIII века относились ко всему родному,—XIX столетие, наученное горьким опытом событий, выдвигает идею национального индивидуализма, требование национальной независимости, как в области политической, так и в области духовной, в сфере литературы и искусства...»

- Семен Венгеров

- ☐
- ☐ I
- ☐ II
- ☐ III
- ☐ IV
- ☐ V
- ☐ VI
- ☐ VII
- ☐ VIII
- ☐ IX
- ☐ X
- ☐ XI
- ☐ XII

- notes

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Семен Венгеров

Иван Иванович Лажечников

Ни одно столетие европейской истории не начиналось таким страстным и всеобщим подъемом национального чувства, как наше^[1]. В полную противоположность XVIII веку, всецело направленному на выработку общечеловеческих формул социальной и политической жизни, в полную противоположность его желанию отрешиться от всяких условий места и времени и только на основании требований сухой и абстрактной теории устроить государственный и общественный быт, наконец, в полную противоположность тому пренебрежению, с которым европейские народы XVIII века относились ко всему родному, – XIX столетие, наученное горьким опытом событий, выдвигает идею национального индивидуализма, требование национальной независимости, как в области политической, так и в области духовной, в сфере литературы и искусства.

Одним из главных факторов этого резкого пробуждения патриотического духа европейских народов нельзя, конечно, не считать Наполеона. Своим необузданным стремлением превратить все страны Европы в французские провинции он пробудил чувство патриотизма даже у тех народов, у которых оно до того дремало. Те же самые немцы, которые еще двадцать лет тому назад старались по возможности меньше походить на немцев, те же самые русские баре, которые не умели порядочно говорить на родном языке, – теперь горят пламенным воодушевлением сбросить с себя иноземное иго во всех его проявлениях. Нарождается грандиознейшее политическое и умственное движение, которое делает XIX столетие, и в особенности первые три десятилетия его, веком пробуждения национального чувства *par excellence*. И оттого-то ни одно столетие не видало такого длинного и успешного ряда попыток национального освобождения, как наше, попыток, не всегда приводивших к самостоятельности политической, но зато всегда уже приводивших к самостоятельности духа, к самобытности литературной и художественной.

Нетрудно, однако же, понять, что условия, при которых возникло патриотическое движение начала нынешнего столетия, были такого рода, что идея национальности не могла сразу проявиться во всей своей чистоте. Сила вещей заставила ее иметь таких союзников, которые весьма мало соответствуют какому бы то ни было идейному движению. Если всецело, со всей глубиной

гениального ума, со всем пылом благородного сердца, отдал себя патриотическому движению такой человек, как Фихте, то зато к нему же в огромном количестве пристали разные ловители рыбы в мутной воде, которые и не замедлили впоследствии обратить в свою пользу результаты патриотического возбуждения. Но не столько, впрочем, в этих ловителях, без которых не обходится ни одно массовое движение, сколько в том характере, который должен был вскоре принять патриотизм первых пятнадцати лет нынешнего столетия, лежит главная причина того, что патриотизм народов, ополчившихся на Наполеона, уклонился от пути, который вполне соответствовал бы высоте идеи. Дело именно в военном характере патриотического движения начала нынешнего столетия, характере, без сомнения, стихийно ему навязанном событиями, но тем не менее весьма невыгодно на него повлиявшем.

Огромна разница между побежденным народом и победившим. Как и всякий человек в несчастье более симпатичен, чем в счастье, когда он задирает голову и все готов принести в жертву своему тщеславию, так и целые народы в години народных бедствий несравненно более проявляют нравственных сил, чем в период удач, когда бахвальство и всякие дурные страсти выступают на первый план. Речь, конечно, идет об удачах военных. Удачи в области наук и искусств еще никогда ни одного человека и ни один народ не портили. Но военные удачи фатально ведут к понижению нравственному, и всегда почти период счастливых внешних войн ведет за собой период реакции внутри страны.

Все это имело место и в начале нынешнего столетия. Одна из сильнейших реакций европейской истории наступила вслед за тем, когда патриотизм соединенных народов Европы сломил могущество «корсиканского злодея». Патриотизм, носивший такой резко-прогрессивный характер, когда дело шло об организации национального освобождения, быстро утратил его, когда побежденные превратились в победителей. Быстро взяли верх мутные элементы движения, нанесенные неразборчивым руслом исторической жизни, в своем стихийном течении так часто захватывающим людей и явления, крайне разнородные и друг с другом, в сущности, ничего общего не имеющие. Патриотизм, соединенный с желанием свободы, становится предметом гонений и преследований, а господство получает патриотизм, приспособленный к целям людей, живущих на счет всеобщего оупения, к целям Меттернихов, Аракчеевых, Руничей, Магницких.

Основная черта этого нового патриотизма заключается в

славословии всего существующего и тех явлений прошлого, из которых возникли любезные сердцу Меттернихов явления настоящего. Смирение, смирение и еще раз смирение, подавление в себе всякой самостоятельной мысли становятся обязательным для всякого, кто не хочет прослыть карбонарием, кто не хочет рискнуть быть причисленным к тем «беспокойным» людям, которые полагали, что можно и даже должно с одинаковым жаром любить и родину, и свободу.

Так было в Европе, так же, в общих чертах, было у нас. Устанавливается особый, официальный патриотизм, основанный на полной покорности всему исходящему от мудрого начальства, на внешнем благочестии, на восхищении доблестями предков, тоже главным образом состоящими из смирения же. Разница между нашим ретроградным патриотизмом и европейским заключается только в том, что число, «беспокойных» было у нас не особенно велико, с ними легче было справиться и потому озлобления было меньше, чем в других странах Европы. Огромное большинство русского «общества» десятых, двадцатых и тридцатых годов состояло из чиновников, прочно перенявших традиции московского «кормления», из помещиков, мало ушедших от идеалов и понятий г-жи Простаковой, из Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных. Для всего этого люда патриотизм Грибоедова и Белинского был не только ненавистен, но даже просто-напросто непонятен. Даже отвлечшись от каких бы то ни было корыстных целей угождения Аракчеевым и Магницким, они все-таки никак не могли бы себе представить благо родины помимо ратного счастья, приумножении территориальных владений, влияния в международных делах и вообще блеска во всех его проявлениях. Общий уровень веса не поднялся еще до понимания блага родины в виде освобождения крестьян, ослабления бюрократизма, уменьшения народных тягостей. Но эти люди затеяли дворцовый переворот, не имевший корней в народе и ео ipso осужденный на неудачу. Они быстро сходят с арены русской общественной жизни, и в ней устанавливается еще большая тишь да гладь да Божья благодать, чем прежде. Казенный патриотизм, благодаря катастрофе 14 декабря, еще более усиливается, а мутные элементы общественной жизни совсем уже входят в роль спасителей отечества и задают тон, идти против которого даже опасно. Достаточно вспомнить, что критика Полевого на драму Кукольника («Рука Всевышнего отечество спасла»), понравившуюся в «сферах», повела за собой закрытие журнала, издававшегося Полевым; что Чаадаев пострадал за напечатание своих философско-исторических воззрений, ничего противозаконного в себе не заключавших, но

не согласных с официальными понятиями о характере русской истории.

Сделанный только что краткий очерк превращения национально-освободительного движения начала нынешнего столетия в казенно-патриотическое необходим нам для понимания деятельности того писателя, биографией которого мы намерены здесь заняться. Дело в том, что основной чертой литературной деятельности Лажечникова на первый взгляд нельзя не признать этот внешний патриотизм, который нам, выросшим на патриотизме Белинского, Некрасова, Щедрина, не может быть особенно симпатичен. То же самое узкое представление о любви к родине, которое нам так не по сердцу в патриотизме славянофильства аксаковской школы, как будто есть подкладка наиболее прошумевших романов Лажечникова.

И тем не менее великий подвижник правды, яростный гонитель казенного патриотизма и вообще страстный враг всего фальшивого и показного, – Белинский принадлежал к числу самых пламенных поклонников Лажечникова.

Как же это согласовать?

Разгадка лежит в необыкновенной нравственной чистоте и искренности натуры Лажечникова, которая не дала ему погрузиться в тину греко-булгаринского патриотизма, а, напротив того, придала страсть и обаятельность даже тем тенденциям его, с которыми не можешь вполне согласиться. Выросши в эпоху наиболее пышного расцвета внешнего патриотизма, вращаясь в продолжение наиболее впечатлительного периода жизни в том кругу, который, уже по роду своих занятий, только внешним образом мог понимать любовь к родине, – именно в среде военной; наконец, горячий участник борьбы 12-го года, когда действительно от всякого хорошего сына отечества только и требовалась одна примитивная, чисто внешняя оборона родной страны; выросши при таких условиях, крайне впечатлительный Лажечников не мог не поддаться в значительной степени внешне-патриотическому направлению своей эпохи. Что касается периода, когда возбуждение отечественной войны улеглось, то будь у Лажечникова натура почерствее, покорыстнее, почестолюбивее, он, нет сомнения, был бы нам столь же несимпатичен в своей деятельности, как и все остальные паладины казенного патриотизма, которые, утративши пыл, создаваемый опьянением военного времени, продолжали все-таки ратоборствовать все в том же направлении, но уже, конечно, из-за мотивов, всего менее имеющих связь с любовью к родине. У Лажечникова никогда таких мотивов не было. Если патриотизм его отчасти внешний, то источник его все-таки искренняя и

глубокая любовь к родине, не имеющая ввиду никакого одобрения, никакого поощрения, никакого креста и местечка. И оттого-то он так неотразимо действовал на чуткого ко всему искреннему Белинского, оттого-то он производит впечатление и теперь. Читая многие страницы «Последнего Новика», «Ледяного дома», вы не соглашаетесь с автором, находите неестественным, преувеличенным патриотизм некоторых героев, но вы все-таки ясно чувствуете, что автор сам страстно верит во все то, что он изображает и проповедует, и вы вполне примиряетесь с ним. Чудесная натура Лажечникова спасла его от всех несимпатичных сторон казенно-патриотического направления, скрасила его огнем веры и убеждения.

Но что всего важнее – искренность и честность натуры не дали Лажечникову застыть раз навсегда в тех взглядах и убеждениях, которые он себе усвоил в молодости, благодаря сложившимся известным образом обстоятельствам. Так как прежде всего Лажечникову дорога была правда, то среда никогда не могла заесть его до того, чтобы в угоду каким бы то ни было тенденциям закрывать глаза на истину. Если в программу казенного патриотизма входило довольство крепостным правом, то искренность и прямота натуры Лажечникова были все-таки настолько в нем сильны, чтобы заставить его возненавидеть рабство; насколько он мог по своему служебному положению и цензурным условиям того времени, Лажечников всегда восставал в своих произведениях против крепостного права. Если в программу казенного патриотизма входило полное повиновение и содействие предначертаниям мудрого начальства, то Лажечникову, однако же, это не мешало значительно уклоняться от такого правила, когда он находил это нужным. Служа под начальством Магницкого, Лажечников не унился, однако же, до содействия этому всеильному человеку; поступив, для прокормления семьи, в цензора, Лажечников страшно страдал от всякой сделанной им пометки, хотя был он цензором тотчас же после крымской войны, когда правительство ничуть не стесняло печать и не вменяло цензорам в обязанность усиленно чиркать и марать; пробыв в этой должности года два, он благословлял тот день, когда ему можно было ее оставить. Благодаря всему этому, и преуспел так мало Лажечников на службе, несмотря на свою всероссийскую славу и на то, что он лично был известен царствующим особам. Оттого же он, в период аренд и пенсий, завещал своему семейству 2 выигрышных билета. Наконец, если в программу казенного патриотизма входило полное презрение к беспокойным людям, то это ничуть, однако же, не мешало Лажечникову от души уважать всякое честное

слово, от кого бы оно ни исходило, и даже в значительной степени поддаваться действию его. Отсюда близкие отношения, которые существовали между Лажечниковым и Белинским, и глубокое уважение, которое Лажечников до конца дней своих питал к Белинскому, хотя, собственно говоря, они находились в разных лагерях. Отсюда чуткость Лажечникова ко всему молодому, свежему и честному. На пятидесятилетнем юбилее литературной деятельности Лажечникова сообщалось, что маститый старец с живейшим интересом и благоволением посвящает все свое время на чтение новейших журналов. Факт этот очень характерен для восьмидесятисемилетнего старика, сформировавшего свое мирозерцание во времена Аракчеева. Много ли вы найдете между деятелями прошлого таких, которые считали бы нужным следить за ходом новейшей мысли, которые не брюзжали бы на новое поколение, на новые времена, причем это брюзжание всегда имеет источником чисто личное раздражение, вызванное сменой старых богов новыми. Лажечников никогда не брюзжал на новые времена, *хотя сам же жаловался, что его забыли*. Напротив того, прежде всего любя истину, Лажечников всегда преклонялся перед ростом русской гражданственности, привившим русской жизни множество гуманитарных идей; чуткая к добру душа его не могла не видеть великих преимуществ новой русской жизни перед старой, и никакие личные чувства не в состоянии были удержать его от признания этого. Таким образом чрезвычайная порядочность натуры явилась коррективом той несимпатичной узости, к которой привел бы Лажечникова всякий другой нравственный склад. Вот те две отправные точки, с которых следует приступить к рассмотрению деятельности Лажечникова. Искренний, пламенный, хотя и внешний патриотизм и чрезвычайная мягкость, поэтичность и искренность натуры – вот те две основные черты умственной и душевной физиономии Лажечникова, которые вполне нам выясняют творческую личность автора «Ледяного дома».

Иван Иванович Лажечников родился 14 сентября 1792 г. (а не в 1794 г., как полагали до сих пор библиографы) в городе Коломне Московской губернии. Отец его был коммерции советник и один из богатейших коломенских купцов, ведущий обширную торговлю хлебом и солью. Последний промысел был наследственный в семье Лажечниковых, им занимался род Лажечниковых с давних времен. Знаменитый романист, следовательно, был происхождения чисто купеческого— явление довольно редкое среди писателей того времени, в огромном большинстве случаев имевших более или менее длинный ряд «благородных» предков. И если принять во внимание, что «благородство» всегда сопровождалось рабовладельчеством, то будет ли с нашей стороны очень смелой гипотезой предположить, что именно купеческое происхождение, т. е. отсутствие в доме крепостных слуг, которых можно было бы дуть и таскать за волосы за всякую провинность, в значительной степени влияло на молодого Лажечникова, и без того одаренного от природы редкой мягкостью характера.

Несомненно, однако же, что, представляя собой семейство Лажечниковых обычный тип купеческих семейств, это едва ли можно было бы назвать более благоприятными условиями для развития характера будущего писателя, нежели происхождение дворянское, хотя бы и обставленное всеми гнусностями крепостного права. Если еще в наше время купечество представляет собой поистине «темное царство», то можно себе вообразить, что являло собой какое-нибудь коломенское купечество в конце прошлого столетия. В «Беленьких, черненьких и сереньких» и в романе «Немного лет назад» — двух произведениях Лажечникова, главным образом представляющих собой воспоминания автора о своем детстве, мы видим, что такое была коломенская купеческая среда: обман самого примитивного свойства, душевная и телесная грубость, чисто животное препровождение времени и мрак самого непроходимого невежества-картина знакомая.

Но семья Лажечникова, главным образом отец его, составляла резкое исключение как с внешней стороны, так и с внутренней. Самые богатые коломенские купцы, как и внешнее провинциальное купечество, жили скредно, одевались помещански, в полдень «ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по вершку сала, и уписывали гречневую кашу пополам с маслом» («Беленькие,

черненькие и серенькие»). Единственная роскошь, которую себе позволяли коломенские коммерсанты, было спать до одурения. «После обеда, вместо кейфа, они беседовали немного с высшими силами, то есть пускали к небу из воронки рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приемов осушали по жбану пива, только что принесенного со льда; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей и опять утопали в лоне трехэтажных перин». «Как видите, жизнь патриархальная! – резюмирует Лажечников. – Немногие избранники отступали от нее. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сын, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике, теребил по складам песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича».

Отец Лажечникова был один из «немногих», решительно отступивших от этой «патриархальной» жизни.

Получив после смерти отца своего богатое наследство, он построил себе превосходный дом, поражавший своим внутренним и внешним великолепием.

«Дом этот славился роскошью своего убранства, – пишет Лажечников в одном месте своих воспоминаний о двенадцатом годе («Новобранец 12-го года»), – везде паркеты из красного, черного, пальмового дерева, мрамор, штоф... В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося века

...из стаи славной
Екатерининских орлов.

И угощал великолепно, не ударял лицом в грязь перед важными господами, не брезгавшими водить хлеб-соль с купцом. Он жил вообще как богатые дворяне того времени. И чтобы совсем походить на них, он купил себе даже поместье в 23 верстах от Коломны – Красное Сельцо. Поместье это было куплено на имя хорошего приятеля Лажечникова, московского губернатора Обрезкова; на чужое имя, как мы полагаем, потому, что купцам в то время было воспрещено покупать населенные имения. «Во время цветущего положения дел» отца Ивана Ивановича Лажечникова, сообщается в автобиографии, читанной Ф. Ливановым на пятидесятилетнем юбилее нашего романиста, «Красное Сельцо было настоящим Эльдorado того времени. Туда стекались дворяне уезда на приманку вкусных обедов с аршинными стерлядями, пойманными в собственных прудах, и

двухфунтовыми грушами, только что сорванными в своих оранжереях. Все это приправляли радушие, ум, любезность хозяина и красота хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринославского кирасирского полка, стоявшего в окрестности, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона. Трехэтажный дом и такой же флигель не могли вместить на сон грядущий посетителей. Губернаторы, ездившие ревизовать губернию, делали несколько верст крюку по проселочной дороге, чтобы откусать хлеба-соли у радушного помещика-купца. Порядочный оркестр домашних музыкантов во время обедов услаждал слух гостей увертюрами из тогдашних модных опер».

Вот какова внешняя обстановка детства Лажечникова. Влияние ее было бы, конечно, весьма мало благотворно для Лажечникова, если бы только одним этим внешним блеском и житьем на широкую, барскую ногу отец его выделялся из коломенской купеческой среды. Нельзя, впрочем, отрицать и того, что отсутствие материальных забот, отсутствие нужды, вид довольных, веселых гостей, наполнявших отцовский дом, не мог укрепить природной незлобивости будущего творца идеально-добрых фигур «Новика», «Ледяного дома», «Басурмана» и др.

Но, помимо этой стороны роскошной жизни отца Лажечникова, он, как уже сказано только что, не одним пристрастием к дворянской жизни выделялся из круга людей своего сословия. Еще в большей степени он выделялся из них своим горячим стремлением к образованию. Выводя своего отца в «Беленьких, черненьких и сереньких» под именем Максима Ильича Пшеницына, Лажечников об нем сообщает следующее: «Максим Ильич имел врожденное стремление к образованию себя. Случай развил еще более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с Новиковым. Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью».

В другом наполовину автобиографическом романе Лажечникова, «Немного лет назад», в котором отдельные черты жизни родительского дома переданы недословно точно, но в котором, однако, верно передан общий дух той обстановки, среди которой вырос Лажечников, отец его, выведенный под именем Патокина, опять-таки изображается страстным приверженцем образования.

Все это вполне подтверждается тем тщательным воспитанием, которое было дано молодому Ване. Вещь неслыханная в купеческой среде – ему был нанят гувернер-француз, и притом не какой-нибудь, – для того чтобы сравниться с дворянами и научить сына болтать по-французски, чтобы в грязь не ударял он перед барчуками, – а прекрасный воспитатель, взятый по надежной рекомендации такого человека, как Новиков. Выбор знаменитого деятеля оказался прекрасным.

«Я учился, – сообщает Лажечников в той автобиографии, о которой уже сказано выше, – сначала русской грамоте у священника. Когда мне минуло 6 лет, взяли к нам в дом гувернера Monsieur Beaulieu, французского эмигранта, не походившего на своих собратьев-проходимцев. Он получил образование в Страсбургском университете, знал основательно французский и немецкий языки, на русском изъяснялся чисто, но ученым нельзя было его назвать. К нам в дом поступил он, кончив воспитание детей в доме князей Оболенских, по рекомендации знаменитого подвижника русского просвещения в России – Новикова, которому, сколько могу сообразить, был брат по масонству. Всегда неукоризненно одетый во французский кафтан коричневого цвета, с косой и бантом за плечами, являлся он к общему столу и учению. Манеры его были просты, но изобличали в нем дворянина дореспубликанских времен, доброту, не доходившую, однако ж, до слабости. Старший брат мой, учившись у него, любил его, как второго отца. Память о нем до сих пор с глубокой благодарностью сохраняется в сердце моем. Никогда не видал я над собой розог, и все наказание учебное ограничивалось у нас ставлением за обедом в угол, каковое наказание огорчало меня до обильных слез».

К этой характеристике Болье можно прибавить еще несколько слов из другой автобиографии Лажечникова (составленной им в 1858 г. для «Художественного листка» Тимма), из собрания рукописей Публичной библиотеки. В автобиографии, читанной Ливановым, Лажечников несколько критически говорит про Болье: «...но ученым нельзя было его назвать». В автобиографии же Публичной библиотеки Лажечников, говоря о себе в третьем лице, пишет: «...с 6-ти лет имел он наставником француза, очень образованного, у которого учился французскому и немецкому языкам, разным наукам и рисованию». Последняя характеристика, несомненно, вернее, и потому, что сделана Лажечниковым раньше, когда память была у него свежее, и потому, что вполне соответствует тому раннему развитию и сравнительно очень большому образованию, которое проявляет Лажечников уже на 15-м году своей жизни.

Мягкость Болье не можем, конечно, не считать тоже одним из факторов, укрепивших природную доброту Лажечникова. Таким же фактором следует считать дядьку Ларивона из «Беленьких, черненьких и сереньких» – лицо, несомненно, живое, что доказывается тем, что он же неоднократно фигурирует и в воспоминаниях Лажечникова о своем детстве. Ларивон, судя по «Беленьким, черненьким и сереньким», был человек большой душевной чистоты и мягкости, никогда не позволявший себе грубого слова. Воспитанник «не видал от него сердитого толчка, не только розги (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя стыда. «Эх! как вам не стыдно, Иван Максимович! – говаривал он в минуты необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца, – этого и бурлак не сделает».

Наконец, что касается родителей его, Лажечников как в своих воспоминаниях, так и в автобиографических романах всегда отзывается о них, как о людях очень добрых.

Таким образом, все сошлось для того, чтобы укрепить в Лажечникове его природную доброту и мягкость: материальная обеспеченность, добрые родители, добрые учителя, незнание над собой розги-в веке, когда на розге была основана вся система воспитания.

Неудивительно поэтому, что детство произвело на крайне восприимчивого Лажечникова огромное впечатление. Много испытал любопытного на своем долгом веку Лажечников и, однако же, ни на чем с такой любовью и интересом не останавливался он, как на своем детстве. У всякого детство рисуется в более или менее радужных воспоминаниях, всякий готов его идеализировать, но у Лажечникова эта любовь настолько сильна, что как только он переступал область исторического романа, он уже непременно касался жизни в родительском доме, которая действительно и заслуживала такой продолжительной памяти о себе.

Светлые воспоминания детства (именно *детства*: в отрочестве Лажечникову пришлось узнать жизнь не только с одной радостной стороны ее нашего романиста омрачены одним эпизодом, на котором стоит остановиться, потому что трудно представить себе что-нибудь более характерное для того времени.

В глухую ночь одного из «последних годов царствования императора Павла I» дом Лажечниковых был внезапно разбужен страшным стуком, шумом и звоном колокольчиков на дворе. Поднялась суматоха и в доме, и «вслед за тем я, – пишет

Лажечников в юбилейной автобиографии, – увидел рыдающую мать мою, прощание ее с отцом, благословение его дрожащей рукой надо мной и братом моим. На дворе стояли три таинственные тройки, запряженные в рогожные кибитки. При них были какие-то солдаты. В одну кибитку посадили моего отца, в другую гувернера Monsieur Beaulieu, в третью священника, нашего русского учителя; казалось, их увезли в вечность. Вслед за тем слышны были только перешептывания, рыдание матери и причитание женской прислуги. В этом происшествии никто ничего не мог понять. Дядька мой Ларивон угрюмо молчал, нянька Домна усердно молилась и приказывала мне молиться».

Через несколько дней все разъяснилось.

Дело в том, что, при всей доброте и мягкости, отец Лажечникова был весьма остер на язык. А так как, кроме того, он был человек правдивый, честный и умный, то остроты его попадали не в бровь, а прямо в глаз и создавали ему множество врагов среди людей, от правды не очень выигрывающих. Пшеницын из «Беленьких, черненьких и сереньких», то есть отец Лажечникова, отпускает колкости на счет городских властей, которые, понятно, немало злятся за это на дерзкого купца. Городничего, например, который состоял в амурах с одной отцветающей графиней, жившей в окрестностях города, и потому вечно пропадал в имении ее и весьма мало заботился о городских делах, Пшеницын прозвал уездным городничим, и кличка эта так и осталась за ним. Патокин из «Немного лет назад», то есть опять-таки отец Лажечникова, «иной раз так смело выражался о разных важных предметах и лицах, что у трусливого человека, слушавшего его, волосы дыбом становились».

Но как в обоих романах, так и в действительности все сходило Лажечникову, благодаря богатству его и связям. Однако же, ходит кувшин по воду, пока не сломится. Довел язык Лажечникова-отца до большой беды, которая тяжелым камнем легла на всю дальнейшую жизнь его. Сострил он раз над одним высокопоставленным коломенским духовным лицом. Священник, обучавший детей Лажечникова русскому языку, в чаянии грядущих наград передал остроту по назначению. Высокопоставленное лицо разъярилось и решило отомстить зазнавшемуся купчишке. Сказано – сделано. В Петербург отправляется обстоятельное донесение о разрушителе основ и якобинце, дальнейшее пребывание которого в Коломне грозит отечеству неотразимыми несчастьями. Как уже сказано выше, происходило это все в последние годы царствования Павла. А известно, что это было за время такое. «Слово и дело», на бумаге отмененное, в действительности свирепствовало неудержимо и

поражало всех, попавших в зачумленный район действия его.

До Петербурга связи Лажечникова не достигали. Там поверили высокопоставленному иерарху, не поскупившемуся на выразительные краски. За Лажечниковым была послана казенная тройка, которая первоначально отвезла его в Москву. Собрав по возможности больше денег и взяв обоих сыновей своих, жена схваченного на следующий же день отправилась по следам мужа, в сопровождении уже известного нам верного и преданного Ларивона. «По приезде в Москву, — сообщает Лажечников в юбилейной автобиографии, — мы отправились в Тайную канцелярию, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади, что ныне дом Московской духовной консистории. Здесь какой-то генерал дозволил нам свидание с пленником. Мы простились с ним, не зная, увидим ли его когда-нибудь... По дальнейшим сведениям известно нам стало, что узника посадили в Петропавловскую петербургскую крепость и отобрали у него ножи и вилки!»

Недолго пробыл коломенский якобинец в крепости. Энергические старания привлекли на сторону его некоторых сильных людей того времени, которые сумели вовремя сказать словечко и этим высвободить узника. В день Михаила Архангела, что в сентябре, Павел Петрович был в очень хорошем расположении духа. Умевшие воспользоваться этим расположением тут же получали за свою ловкость сотни и тысячи душ, чины, кресты русские и кресты мальтийского ордена, гросмейстерство которого недавно взял на себя любивший всякие чудачества Павел. Сумели также воспользоваться хорошим расположением духа императора два приближенных к нему лица — Куракин и Лобанов-Ростовский для спасения Лажечникова. Они доложили, что на коломенского коммерсанта взвели напраслину, что его оклеветали. Им поверили, и Лажечников был освобожден. А доносчика-священника перевели в Тульскую губернию на низшее место. Угрызения совести, а может быть, и злоба на скверный исход своих надежд вылезть в люди, довели неудачного доносчика до расстройств умственных способностей.

День Михаила Архангела стал священным в семействе Лажечниковых. Каждый год он праздновался самым торжественным образом, как день освобождения от неожиданной напасти.

Но дорого однако же, обошлось Лажечниковым, в конце концов, это освобождение.хлопоты и приобретение связей не даром доставались в то время. А главное, торговые дела Лажечникова были сильно запущены им за время вынужденного отсутствия. Прежнее богатство было значительно подорвано.

Правда, оно было настолько, велико, что можно еще было продолжать несколько лет, по-прежнему, жить на широкую ногу. Но все-таки нанесенный удар был настолько силен, что благосостояние Лажечниковых с каждым годом все падало и падало, пока, наконец, в 1811 году ему не был нанесен удар окончательный. В этом году зима была ранняя, и Ока стала тоже раньше обыкновенного. А между тем Лажечникову нужно было поздней осенью провести по Оке караван соли для целой Московской губернии. Для того чтобы выполнить взятый подряд по снабжению солью, ему пришлось возить ее несколько сот верст гужем. Конечно, это обошлось бесконечно дороже. В прежнее время Лажечников свободно покрыл бы даже такой громадный дефицит. Но теперь условия были совсем иные, и для спасения себя от банкротства почти все недвижимое имущество пришлось распродать. Немногое уцелело от крушения. К счастью для нашего писателя, это окончательное крушение произошло тогда, когда ему было 19 лет и он уже успел воспользоваться богатством своих родителей для того, чтобы получить отличное образование и накопить для будущего запас светлых воспоминаний о детстве. Что же касается того события, которое послужило первоначальной причиной разорения, то все значение его Лажечников мог понять только возмужав. Мрачная сторона этого происшествия не могла быть воспринята детской душой Лажечникова во всей своей силе и если повлияла на нее, то разве тем, что своей внезапностью и таинственностью усилила и без того сильную в нем склонность к романтическому и чудесному.

Возвратимся теперь к воспитанию Лажечникова и отметим первые шаги его на литературном поприще. «Выучившись читать по-русски, – сообщает он в юбилейной автобиографии, – я с жадностью бросился на книги и перебрал всю библиотеку отца моего, в которой, сколько припомнить могу, нашел «Всемирный путешественник», сочинения Ломоносова и все, что издано было по русской литературе до того времени. Когда я хорошо ознакомился с французским языком и порядочно с немецким, моя литературная жатва была обильнее, мало-помалу, с физическим и умственным ростом моим, я стал читать на французском языке сочинения аббата де Сен Пьера, Эмиля Руссо, трагедии Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливия во французском переводе, кажется, Лер-минье, Шиллера на немецком языке и др.; говорю только о любимых мною писателях. В это время, еще будучи четырнадцать лет, я возымел сильную охоту к сочинительству и сделал на французском языке описание Мячнова Кургана, что по дороге из Москвы в Коломну; пятнадцати лет сочинил на том же языке стихотворение, а шестнадцати лет написал «Мысли в подражание Лабрюйера» и послал статью эту в «Вестник Европы», издававшийся тогда Каченовским. Редактор, не подозревая в авторе мальчика, напечатал статью в своем журнале, и так как я громил в одной фразе тиранов, то он сделал на нее собственноручное замечание».

Однако же, на самом деле мальчик-автор был еще моложе: «Мысли» напечатаны в «Вестнике Европы» за 1807 год, следовательно, когда Лажечникову было всего только пятнадцать лет. Ему просто изменила память, когда он утверждал, что дебютировал в 16 лет.

Нельзя не подчеркнуть этот факт как явление, резко характеризующее даровитость Лажечникова и раннее развитие, которым наш писатель, несомненно, обязан благотворному влиянию Болье. Очень может быть, что ближайшее ознакомление с «Мыслями» и разочарует современного читателя, они могут показаться и не особенно важными. Но дело-то в том, что нельзя относиться к литературным явлениям прошлого иначе как с исторической точки зрения. В данном случае нужно исключительно руководствоваться тем, что «Вестник Европы» Каченовского принадлежал к лучшим журналам своего времени. Если нас чрезвычайно изумило бы появление статьи пятнадцатилетнего мальчика на страницах «Вестника Европы» Стасюлевича, то совершенно такое же изумление должно быть

вызвано напечатанием «Мыслей» еще не вышедшего из детства Лажечникова на страницах «Вестника Европы» Каченовского.

Ввиду того, что «Мысли» ни в одно собрание сочинений Лажечникова не вошли и не только «читающей публике», но даже и специалистам совершенно неизвестны, мы позволим себе привести их целиком, благо они крайне незначительного размера: «статьи» в журналах начала нашего столетия большей частью очень крошечные, не чета современным, так и норовящим раздуться в книгу.

Мои мысли

«Гордость – разумею, благородная – должна быть видна и в монархе, и в народе, для того, чтобы заставить себя уважать и страшиться, – в бедном и несчастном человеке, для того, чтобы заставить почитать добродетель и в рубище...»

«Кто не был несчастлив, не знает, что есть истинно наслаждаться счастьем; кто не видел ужасов бури, не ощущает живого удовольствия в ясную погоду; кто не был палим солнечным зноем, не знает, что есть прохлада тенистой рощицы и свежие струи ручейка кристального!..»

«Когда бессмысленные мальчишки бросают в меня камнями, что должен я делать? – Бежать от них и спрятаться за высоким забором».

«Женщины любят страстно, ненавидят страстно (умеют они и мстить дерзким – прощая. Примечание Каченовского), чувствительны до страсти; мужчины любят с хладнокровием, отвергают руку помощи с хладнокровием, убивают друг друга с хладнокровием...»

«Я шел по улице; израненная собака лежала в углу; на жалостные стоны пришла туда другая собака, и в ту же минуту начала лизать раны больной; не отошла до тех пор, пока не увидала, что ей стало легче. – Зверь чувствует сострадание, а человек просвещенный, с разумом, с сердцем?!!»

Последняя «мысль» вызвала такое примечание Каченовского: «Не спорим, что есть люди жестокие, незнающие сострадания, однако же, не унижая достоинства чувствительных собак, можно сказать наверное, что в обществе человеческом более найдем примеров, нежели между животными».

«Бедные и несчастные не могут найти себе друзей в знатных вельможах: ибо сии последние оказывают вспомоществование не из любви к ним, но из одного тщеславия-станет ли слабый цветок искать себе защиты от сильных порывов ветра подле величественного, гордого дуба? – Нет, он прижмется к такому же слабому цветку – и они крепко обовьются один около другого...»

«Какое различие между женщиной и царем персидским? Деспотическое правление первой основано на законах природы – то есть красоты, добродетели; а второго – на законах, установленных, с одной стороны, жестокостью, с другой – страхом. Как приятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связывает смертных узами любви! Как несносно беспредельное могущество второго, ибо оно оковывает подданных тяжкими цепями тиранства!..»

И эта «мысль» вызвала примечание Каченовского: «Неограниченная, *во зло употребляемая* власть женщины столь же несносна, как и беспредельное могущество персидского царя, *во зло им употребляемое* (все курсивы Каченовского). Люди уже наслаждались счастьем; живучи под властью отеческой, на взаимной доверенности и правителя и управляемых основанной, прежде нежели пришло им на мысль писать общественные договоры».

«Великий человек, прославившийся умом своим или мужеством, не может равнодушно взирать на людей, стремящихся на равную степень высоты; он старается заградить им путь к славе; он страшится разделить ее с соперниками своими; он желает, чтобы вселенная удивлялась ему одному, чтобы ему одному курила фимиам хвалы бесконечной... Таков ли *великий муж*? Нет, имя сие тому принадлежит, кто не знает зависти и самолюбия, кто приносит должную дань превосходным дарованиям и радуется от всего сердца, видя общие успехи, кто снисходительностью торжествует над своими соперниками. Он подносит каждому из них по венку – и в то самое время тысячи венков летят к ногам его» («Вест. Евр.», 1807 г., т. 36, стр. 188–191).

Повторяем опять: очень может быть, что современному читателю «Мысли» покажутся не особенно важными, и мы вполне согласны с тем, что их и не следовало вносить в полное собрание, но в то же время нельзя их не признать крайне замечательными для пятнадцатилетнего мальчика. Ничто в них не изобличает

мальчика: язык, сюжет, философская форма – все это под стать любому литератору того времени.

Для нашей специальной задачи выяснения условий, под влиянием которых сформировался душевный мир Лажечникова, «Мысли» очень любопытны: они служат лучшей характеристикой того направления, которое дал своему воспитаннику Болъе. Так и чувствуется в них дыхание французской философии прошлого века: протесты против деспотов, сетования на людскую испорченность, преклонение перед жизнью согласно природе, так что даже животные оказываются нравственнее людей, уважение человека как человека и так далее. Очевидно, что Болъе действительно не походил на своих «собратов-эмигрантов». Злоба на переворот, изгнавший его из отечества, не помешала ему быть искренним приверженцем лучших идей, которые легли в основу этого переворота, и внушить своему воспитаннику уважение к ним. Болъе принадлежал к тому небольшому числу французских эмигрантов, которые глубоко верили в живительность философского движения прошлого века и только жалели, что обстоятельства направили практическое применение идей Вольтера, Монтескье и Руссо не так, как им бы того хотелось.

Очень характерно, что, издав в 1817 году свои «Первые опыты в прозе и стихах», Лажечников внес в них «Мысли», но место о деспотах исключил. Адъютантская среда, в которой Лажечников в 1817 году исключительно вращался, таки наложила на него свою печать.

Но, как и в продолжение всей его жизни, хорошего сердца Лажечникова среда не могла заесть. Все другие «мысли»: об уважении к человеку как к человеку, о чувстве собственного достоинства, выражающемся в благородной гордости, Лажечников оставил. Относительно этого внушения и уроки Болъе слишком глубоко засели в душу его, от природы подготовленную для восприятия всего доброго и честного. Голова Лажечникова иногда ошибалась под влиянием «политики», но сердце – никогда.

Литературный успех сына – наглядное доказательство пользы, извлекаемой им из учения, еще более укрепил в родителях Лажечникова желание дать ему хорошее образование. В данном случае коломенская купеческая семья оказалась выше дворян того времени. Госпожа Сталь, посетившая Россию перед двенадцатым годом, с удивлением замечала, что у русских дворян «образование кончается в 15 лет». Карамзин восставал против Сперанского, желавшего поднять уровень образования служилого дворянства, и находил, что «ученое сословие» всего лучше комплектовать из мещан. А вот коломенский купец, даже определив сына на службу, следовательно более или менее «устроивши» его судьбу, все-таки продолжал нанимать ему учителей. Переселившись в Москву и неся службу, Лажечников брал уроки риторики у адъюнкт-профессора Победоносцева (отца столь известного К. П. Победоносцева) и слушал private лекции у Мерзлякова (Автобиография Публичной библиотеки).

Одновременно шла и служба. «Ученик Победоносцева и Мерзлякова в то же время, по тогдашнему обычаю, числился и в службе». Опять-таки по обычаю того времени, зачислен был Лажечников на службу еще малолетним. Именно еще в 1802 году, то есть когда ему было 10 лет, он был «записан студентом в московский архив иностранной коллегии, начальником которого был тогда Н. Н. Бантыш-Каменский» (Автобиография Публичной библиотеки). В 1806 году юный Лажечников уже получил повышение: был произведен в архивариусы. С этого времени он и стал заниматься в архиве, приводить в порядок документы, хранящиеся там. Нет сомнения, что, помимо разных других причин, занятие в архиве немало содействовало развитию в Лажечникове любви к истории, хотя нельзя сказать, чтобы только заботы о преуспевании русской историографии стояли в архиве на первом плане. Сам начальник архива, например, знаменитый историк своего времени Бантыш-Каменский тщательно смотрел за тем, чтобы архивные чиновники непременно писали так называемым английским почерком...

В 1810 году Лажечников меняет службу. По совету хорошего приятеля своего, московского губернатора Обрезкова, отец Лажечникова переводит сына в канцелярию генерал-губернатора. По мнению Обрезкова, здесь можно было приготовить себя к «более дельной службе». Молодой литератор не столько, однако же, предается этому приготовлению, сколько усиленному чтению и совершенствованию своего образования.

Продолжает он также заниматься литературой, но нельзя сказать, чтобы слишком блистательно. Помещенное им в «Вестнике Европы» 1811 года рассуждение «О беспечности» гораздо ниже «Моих мыслей» и ничего, кроме самых банальных поучений на тему «не отлагай до будущего дня того, что можешь сделать в нынешний», в себе не заключает.

Рассуждение «О беспечности» не было вторым произведением Лажечникова, как это кажется библиографам. Гораздо раньше, именно в 1808 году, помещена им «Военная песнь» на страницах «Русского вестника», издававшегося тогда Сергеем Глинкой.

Кроме того, роясь в журналах начала нынешнего столетия, нам удалось раскопать, что юный Лажечников был одним из деятельных сотрудников сентиментальнейшей «Аглаи», издававшейся известным чувствительным поэтом – князем Шаликовым. В «Аглае» Лажечников поместил целый ряд повестей, рассуждений и стихов, которые впоследствии составили большую часть «Первых опытов в прозе и стихах». Отлагая оценку этих первых произведений музыки Лажечникова до разбора «Первых опытов», скажем только, что Шаликов настолько ценил своего юного сотрудника что даже поместил вот какой экспромт:

Аглая в цветнике своем
Дары твоей прелестной Флоры
Сажает с Радостью вдвоем
И восхищает ими взоры
Не мнимых знатоков
В достоинстве цветов.
«Аглая», 1812 г., № 14

Участие мальчика Лажечникова в журнале Глинки нельзя не отметить. Оно показывает, как рано примыкает наш писатель к «патриотическому» направлению и какого чистого, искреннего происхождения, следовательно, оно у него было. «Бескорыстный патриот, немного взбалмошный, но смелый «гражданин», – как вполне верно определяет господин Пспин в своих «Очерках общественного движения при Александре I», – Глинка стал во главе «русского» движения того времени. С этой целью основал он «Русский вестник», одним уже названием своим являвшийся протестом против господствовавшей тогда мании ко всему иностранному. Весь журнал был посвящен прославлению русского духа. Корреспонденции, статьи, романы, драмы, стихи, смесь, анекдоты, виньетки – все это возвеличивало доблести русских. В своем патриотизме и желании прославить все отечественное Глинка доходил до того, что систему воспитателя

Петра, дьяка Зотова, ставил на одну доску с системами Руссо, Кондильяка и Локка, а Симеона Полоцкого приравнивал Сократу, Платону, Декарту, Вольтеру. Этот необузданный патриотизм находил себе приверженцев, но в то же время встречал и крайне резкую оппозицию. Поэтому очень характерно для отрока Лажечникова, что он примыкает к направлению Глинки. Факт посылки стихотворения в «Русский вестник» показывает, что юный поэт следил с любовью за этим журналом и сочувствовал его тенденциям. Понятно, что напечатание стихотворения еще более укрепило в юном писателе любовь к Глинке. «С каким благоговением смотрел я на него, – пишет он в «Новобранце 12-го года». – Он известен мне был заочно, как издатель «Русского вестника», поощривший мой первый литературный лепет: поместив в своем журнале мою «военную песнь» и напечатав под ней мое имя, он сделал меня на несколько дней счастливым».

«Военная песнь», имеющая еще дополнительное заглавие: «Славяно-россиянка отпускает на войну единственного своего сына», – заглавием и содержанием вполне подходит под «славяно-российское направление» Глинки. «Славянороссиянке» сначала жаль отпустить сына. Но вот раздается голос России:

«Сыны, готовьтесь на брань!
Творец от высоты святыя
Всесильную прострет к вам длань.
О мать! сына ты жалеешь;
Но вспомни дух славянских жен, –
Иль Ольге подражать не смеешь?
С ней Святослав был разлучен.
Она сама вооружала
На брань питомца своего,
В нем жизнь, в нем душу полагала
И провожала в бой его».
Мать нежная словам сим внемлет,
Вздыхнув, трепещущей рукой
Она упавший меч подымлет:
«Мать, царь, отечество с тобой!
Мой сын! иди на бой для славы,
Иди Россию защищать.
Последуй стран родных уставу
Не дважды с честью умирать».

стороне иноземного, Лажечников уже был решительным приверженцем крайнего патриотизма, то можно себе представить, как велико в нем должно было быть патриотическое возбуждение в великую эпоху 12-го года, когда вся Россия, как один человек, восстала для защиты родины. И действительно, Лажечников принимает в отечественной войне весьма деятельное участие.

Большие препятствия должен был преодолеть он раньше, чем стать в ряды защитников отечества. В начале войны Лажечников продолжал нести гражданскую службу. Весть о Бородинском сражении, о решении Кутузова сдать первопрестольную столицу без боя застала еще Лажечникова в Москве. Служебных занятий у него, само собой разумеется, никаких не было, потому что саму канцелярию, где служил Лажечников, перевели для безопасности на владимирскую дорогу. «В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы, к стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиду моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев и юношей. Порой рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка». «Не скрою, – прибавляет откровенный Лажечников, – что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви» («Новобр. 12-го года»).

Родители, однако же, совсем не разделяли патриотического увлечения молодого героя. Отец велел ему немедленно выехать к нему в деревню. «Я плакал, как ребенок, но скоро одумался. Что бы ни стоило, – сказал я сам себе, – а буду военным, хоть бы солдатом». Но первоначально юный патриот решил еще раз переговорить с родителями и потому оставил Москву. В течение нескольких недель все убеждал он родителей, но напрасно.

«Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы ни стало: бежать из дому родительского. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе (Коломне) остановился отставной кавалерист Беклемишев, поседельный в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же один гусарский юнкер, сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение, старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а

молодые люди дали мне слово взять меня с собой. За душой не было у меня ни копейки. Коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовской меховой курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал – сердце было не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руки, я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мне мой самовольный поступок и облегчить горечь и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мной в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись еще раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо них, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов – и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, – сказал он мне с неудовольствием, – я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке, и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша, – продолжал он, – задние сени в саду у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на дворе, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силой, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он тоже сделает в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменял упрек на моления; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумолим. Делать было нечего: надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилил свои цепи и решетку тюрьмы, готов был бежать и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был сквозь пролом древнего кремля огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон,

чтобы взглянуть в последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижер. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесят�еряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз. Мы сели в повозки и помчались, как вихорь, через город».

Таким образом, пламенное желание послужить родине заставило кроткого и благотворного Лажечникова даже послушаться родителей. Последние, впрочем, скоро простили его и, нагнавши беглеца в подмосковном селе Троицком, обошлись с ним ласково.

Собственно Москву Лажечников нашел уже освобожденной от неприятелей. Но война еще далеко не была окончена. Нельзя было тогда еще предвидеть той решительной перемены военного счастья, которая повалила гениального Корсиканца. Опасность от него была еще настолько велика, что требовалось напряжение всех военных сил. Деятельно поэтому шел сбор ополчения, куда и поступил наш писатель. Благодаря хлопотам отца Лажечникова, приятель его – губернатор московский Обрезков, сначала публично пожурив послушника, потом дал ему рекомендательные письма к разным начальствующим лицам, что и доставило ему место офицера, а не простого ратника.

До сих пор мы черпали сведения из «Новобранца 12-го

года» – небольшой статейки, написанной замечательно тепло, искренне и интересно. О дальнейшем же участии Лажечникова в войне народов дает нам сведения автобиография Публичной библиотеки и «Походные записки русского офицера», которые Лажечников помещал в журналах десятых годов, а в 1820 году издал отдельной книжкой. В собрание сочинений они не были включены автором и потому совершенно неизвестны публике и критикам.

Лажечников сначала определился прапорщиком в московское ополчение, а затем его перевели в московский гренадерский полк. В Вильне нагнал их штаб своей 2-й гренадерской дивизии и здесь же начальник этой дивизии, принц Мекленбург-Шверинский, прикомандировал его к своему штабу и потом взял к себе в адъютанты. Рекомендательные письма, значит, сослужили-таки свою службу.

Благодаря своему адъютантскому положению, Лажечников сразу попал в «сферы», и нет сомнения, что и это обстоятельство укрепило его незлобивость и искреннюю преданность «сферам». Человек, которому везет, всегда почти привязан к тому порядку вещей, который доставляет ему благоденствие.

Веселой жизнью зажил юный адъютант. Штабным всегда хорошо живется. А тут еще подвернулось особое обстоятельство. Из Калиша в 1813 году Лажечников вместе с шефом своим отправился в герцогство Мекленбург-Шверинское, где положительно завертелся в вихре придворной жизни. Торжественно встречали мекленбургцы своего герцога: патриотическое возбуждение немцев было тогда в полном разгаре. Первые успехи в борьбе с Наполеоном возбуждали надежду на полное свержение французского ига. Все были в чаду упоения этими успехами и с энтузиазмом относились к виновникам их. Восторженнейшими овациями встречали поэтому повсюду герцога, участника первых побед над тираном Европы. Торжественные процессии, триумфальные арки, молодые девушки в белых платьях и гирляндах из цветов с венками для героев, приветственные речи, иллюминации, праздничные толпы ликующего народа, восторженные крики – весь этот блеск и треск выпал на долю герцога и его свиты. Один из немногих членов этой свиты, Лажечников насладился торжественностью встречи в полном ее объеме. Помимо того, что он был адъютантом герцога, он был еще русским, то есть представителем самого популярного тогда в Европе народа. Поэтому, где бы Лажечников и его немногие русские сотоварищи ни были, их всюду восторженно принимали, ласкали, угощали, баловали. Вместе с герцогом объездил он многие германские дворы, в том числе прусский, и

всюду он встречал самый блестящий прием. Лажечников то и дело обедал вместе с великими герцогами и королями, участвовал в самых интимных придворных собраниях, танцевал с принцессами и королевскими дочерьми.

Всякий другой на месте Лажечникова сумел бы воспользоваться столь благоприятно сложившимися обстоятельствами и вернуться из кампании в немалом чине. Но не таков был восторженный юноша. Если первые два-три месяца его и ослепил блеск придворной жизни, то он, однако же, очень скоро вспомнил, что не для того он с такими препятствиями определился в военные, чтобы стать паркетным шаркуном, хотя бы даже королевских палат. Карьеризм во всю его жизнь был чужд Лажечникову, и как мы уже раз сообщили, он умер в весьма среднем чине и завещал своему семейству 2 выигрышных билета. Не прельстила его карьера и в 1813 году. «Между поездками то под Бауцен, где находился более зрителем, чем участником данного под этим городом сражения, то в Силезию во время перемирия, то в Богемию, когда раздавались в ней громы Кульмской битвы, то в армию кронпринца шведского (Бернадота) при Гросс-Берене; грустя и стыдясь, что по обстоятельствам, не зависевшим от него, не окурился, как должно, порохом и не разделял с товарищами опасностей военной жизни, он решительно просил шефа своего уволить его от должности адъютанта» (Автобиография Публичной библиотеки).

Ввиду такой настоятельности непрактичного адъютанта, увольнение ему было дано. В декабре 1813 года Лажечников нагнал свой полк в то время, как он переправлялся через Рейн. Близость с шефом дивизии и здесь послужила протекцией Лажечникову. Он был назначен адъютантом к генералу Полуектову, но теперь уже адъютантом боевым. Уже не зрителем, а деятельным участником встречаем мы его в деле под Бриеном и в величайшем событии кампании 14-го года – взятии Парижа. За участие в последнем Лажечников получил орден за храбрость. Участвовал он, конечно, и в торжественном вступлении наших войск в Париж.

По возвращении армии в Россию Лажечников зиму 1814–1815 годов провел в Дерпте. Здесь он познакомился с Жуковским, гостившим у Воейкова. Эти литераторы, послушавши отрывки из «Походных записок» молодого офицера, очень благосклонно к ним отнеслись и поощрили его к дальнейшей литературной деятельности. Но раньше, чем предаться этим мирным занятиям, ему пришлось еще раз побывать на поле брани. Наполеону не сиделось на Эльбе, и вскоре Европа была потрясена известием о Канской высадке. Снова закипела война; дивизия Лажечникова

получила приказ отправиться «за границу». Второй раз пришлось ему побывать во Франции.

В 1818 году Лажечников поступил адъютантом к знаменитому начальнику гренадерского корпуса, победителю при Кульме – графу Остерману-Толстому и «вскоре после того отправился с ним в Варшаву, где (в свите Государя Императора) был ежедневно в кругу тогдашних знаменитостей и близким зрителем достопамятных событий того времени». (Автобиография Публичной библиотеки). В этом же году Лажечников, продолжая состоять адъютантом при Остермане-Толстом, очень его любившем, с чином поручика лейб-гвардии, был переведен в Павловский полк, а в декабре 1819 года вышел в отставку и, заручившись рекомендациями своего генерала, на родственнице которого женился вскоре, поступил на службу по министерству народного просвещения, о чем всегда мечтал.

Вот как неблистательно завершилась военная карьера Лажечникова. Все время был он адъютантом, в начале и конце при весьма высокопоставленных лицах, и все-таки ни капитала не нажил, ни до степеней особенных не дошел. Не умел ловить момент, да и не хотел.

Последние годы своей офицерской службы Лажечников усердно занялся литературой. С 1817 года он начинает помещать в «Вестнике Европы», «Сыне Отечества» и «Соревнователе просвещения и благотворения» отрывки из своих «Походных записок». В этом же году он издает «Первые опыты в прозе и стихах» – собрание пьес, большей частью уже напечатанных им в разных журналах («Вест. Европы», «Русск. вест.», «Аглая») и отчасти уже нам известных. В словаре русских книг Геннади мы против «Первых опытов» читаем: «Редкая книжка, потому что была уничтожена самим автором». В Публичной библиотеке, где ex officio сохраняется всякий хлам, есть и эта редкая книжка, не рассмотренная еще ни одним критиком. Конечно, вообще говоря, не стоит на ней останавливаться, потому что большая часть книжки дребедень страшная, но есть в ней вещи, вызывающие некоторые небезынтересные параллели.

Сам Лажечников о «Первых опытах» следующим образом отзывается в своей автобиографии, хранящейся в Публичной библиотеке: «...к сожалению, увлеченный сентиментальным направлением тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видел в «Бедной Лизе» и «Наталье – боярской дочери», он стал писать в этом роде повести, стишки и рассуждения. Впоследствии времени он издал эти незрелые произведения в одной книжке, под названием «Первые опыты в прозе и стихах»; но, увидав их в печати и устыдясь их, вскоре поспешил истребить все экземпляры этого издания».

«Первые опыты» состоят из трех отделов: «Повести», «Рассуждения» и «Стихи». «Рассуждения» – лучшая часть книжки и довольно удовлетворительны. Они обнимают самые разнообразные сюжеты: тут есть и знакомые нам «Мысли», значительно дополненные, и статья «О беспечности», и «Разговор о любви», и «Мысли славнейших писателей о женщинах», и трактатцы «О прекрасном и милом», «О воображении», «О надежде», из которых «О воображении» заключает в себе несколько дельных мыслей. Так, например, к чести критического понимания молодого писателя, он восстает против нравившихся в то время «бредней Радклифа, ищущих грозных происшествий по мрачным подземельям». Любопытен, как отражение эпохи, взгляд молодого литератора на «истину» в литературных произведениях: «Всякая истина в наготе своей заключает в себе пользу; но не принесет никогда желаемого успеха, если передаваема будет без особенной привлекательности. Не всегда смертный требует одной

важной и строгой правды; не один разум занимает его; есть, наконец, воображение, и кто будет столько жесток, что разлучит его с нежными, лучшими друзьями? Вы, которые называете себя учителями нравов, угрюмые писатели нашего времени! Оденьте истину вашу прозрачным покрывалом воображения, и вы будете нравиться, подобно любезному Карамзину; подобно ему, найдете поклонников дарованиям своим; раскиньте с бережливостью цветы приятного по сухому полю философии, и любезные ученицы природы и вместе наставницы, рода человеческого полюбят душой ваши творения; соедините ум и сердце, будьте чувствительны без займа чужой чувствительности, и слезы друзей-читателей почтят память вашу искренней похвалой».

Было бы странно винить Лажечникова за такую боязнь «истины», если вспомнить, что целых двадцать лет спустя гениальнейший представитель литературы своего времени точно так же находил, что

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Почти весь стихотворный отдел, как оно и приличествует юному поэту, посвящен любви. Он объясняется в любви целому сонму дам, которые по правилам поэзии того времени называются не Марьей, Анной, Варварой, а непременно Мальвиной, Хлоей, Лилой, Дельфирой.

Но самая любопытная и поучительная часть книжки – это помещенные в ней повести: «Спасская лужайка» и «Малиновка». «Спасская лужайка» повествует о «несчастном Леонсе», который, потерявши мать и «оставшись верен своей горести» в течение целого года, вдруг познакомившись с прекрасной дочерью «г-жи Теановой» – Агатой, почувствовал цену жизни и узнал вторично, что существо наше красится только «существом другого». Агата тоже полюбила Леонса. Леоне «сделал обет в сердце своем любить Агату единственно – до гроба!.. Увидим, не изменил ли он клятве своей!». Обстоятельства сложились самым ужасным для любовников образом. Мать Агаты, несмотря на то, что уже «семь люстров сочла в жизни своей (семь пятилетий), была еще привязана к шумным удовольствиям» и вышла замуж за овдовевшего отца Леонса. Несчастные любовники оказались таким образом братом и сестрой и не могли соединиться «вечными узами». Правда, как человек эпохи, воспитанной на Руссо и его *homme selon la nature*, Леоне не покорился «определению судьбы» и в сочиненных им стихах резко заявляет:

Что мнения людские,
Что света нам слова?
Природа нам святые
Свои дала права,
Природа нам велела
Друг друга век любить,
Ужель она хотела
Преступников творить?

Но на самом деле ничего нельзя было сделать. А тут еще подвернулся помещик Беатусов, который, поощряемый родителями Агаты, захотел жениться на ней. Бедная, из чувства повиновения, согласилась. «Даю руку, но не сердце!» – сказала она матери и почти решилась жертвовать всем жестокому долгу. Но раньше чем окончательно согласиться, она отправилась на свидание с Леонсом. «Можно ли отказать в последнем свидании тому, для кого жили и хотели умереть? и где ж, в какое время назначено видеться? Боже, что делает твое создание в исступлении страсти!.. Глухая полночь, осенняя непогода, волнующаяся река должны быть свидетелями последних клятв, последнего вздоха любви!.. Челнок и верный друг Агаты приняли ее у берега. «Любишь ли ты еще меня?» – спросил несчастный дрожащим голосом. «Боже мой! ты видишь, люблю ли Леонса!» – отвечала она и крепко прижалась к груди его. Он трепетал; лихорадка струилась по его жилам. «Милый друг! боишься ли ты смерти?» – сказал он голосом исступления. «Смерть с тобою?.. Нет! До гроба – клятва наших сердец! Умрем вместе, когда мы вместе не могли жить!.. Готова, мой друг!.. Навеки твоя!..» Чуть услышал он роковое «навеки», чуть слышал, как она молилась в его объятьях, и имел еще силу оттолкнуть утлую ладью от берега, имел еще дух стать на один край ее... с этим движением челнок опрокинулся... Легкий шорох... еще шорох... все утихло... один гений преступления летал тогда над зыблющимся гробом несчастных любовников. Говорят, что он и по днес на том же самом месте виден в слезах, умоляющим небо простить двум жертвам любви. На другой день нашли тела злополучных друзей, вместе плывущие поверх воды. Руки бедной Агаты оплелись вокруг Леонсова стана, черты лица на обоих выражали одну горесть и, казалось, упрекали людей в их жестокости. Лесок Спасской лужайки осенил их могилу. Дрожащие осины стонут и теперь над прахом их и напоминают бедному страннику о непостоянстве жизни, в которой судьба почти всегда смешивает терны с цветущею розою, и там, где мы надеялись улыбаться,

велит проливать горькие слезы».

Мрачное настроение, навеваемое «Спасской лужайкой», рассеивается исторической повестью «Малиновка, или Лес под Тулой», посвященной описанию любви счастливой.

Малиновка – это некая сирота из рода Нагих, которая вместе с дядей своим *Мирославом* скрывалась «близ Тулы, в густоте березового леса» от преследования «честолюбия Годунова». Сначала хорошо ей жилось. Весело просыпалась она с красным солнышком, весело встречала первую вечернюю звезду. Прекрасная с веселостью топтала зеленые луга, с беспечностью терялась по извилистым тропам березового леса, в сладком забвении засыпала на коленях почтенного родственника. Но вот прошел таким образом год, и Малиновка «почувствовала одиночество. Скука встречала ее на муравах, тоска следовала за нею во всех прогулках; вздохи ее слышны были даже и в те минуты, когда старик разными играми и ласками старался вызвать улыбку на полное ее лицо». Малиновка все ждала «сама не зная кого». Он не замедлил явиться в образе *Миловида*. Миловид был «цвет юношей, краса витязей, любовь дев престольного града». Внезапно дано ему было Годуновым приказание отыскать в тульском лесу Мирослада и, «отягченного цепями, привезть в столицу». Напрасно отклонял от себя добрый Миловид злое поручение. «Грозный тиран» был неумолим. В товарищи ему дан был злой *Скрытосерд*. Долго они рыскали и ничего не находили. Но вот однажды «при закате румяного солнышка, пробираясь через лес», они услышали чудную песнь. То пела Малиновка, славившаяся своим умением «слагать песни и петь их. Когда она пела радости беспечной юности, резвую беззаботность, быстрые часы удовольствия, тогда старцы почитали себя моложе, мечтали с улыбкою о днях прошедших и порхали воображением по душистым розам любви». Миловид, внимая звукам песни еще невидимой покамест певичи, «чувствовал что-то необыкновенное, чего не мог изъяснить». Но вот показалась и сама певичица «во всей свежести, со всеми прелестями лет весенних». Миловид был поражен. В свою очередь, и Малиновка, «сравнивая его с крылатым юношею, так часто посещавшим ее в мечтах сновидения, подумала: точно *он!*» Тотчас последовала между ними «мена сердец и перелив душ». Вслед за тем «молодые рыцари проводили красавицу до жилища ее. У ворот тесовых пожелали они ей доброго дня, не смея следовать за нею в терем, потому что дядя ее *Боголюб* был не совсем здоров (как рассказала она им дорогой, не открывая им настоящего его имени)». Хитрый *Скрытосерд* сразу, однако, сообразил, что тут что-то неладно, и через несколько дней

«хитрыми допросами окруженных поселян, обманами, увещаниями и даже угрозами» узнает, кто в действительности мнимый Боголюб. Миловид же, «в сладостных мечтах любви, забывает грозное поручение тирана» и ищет свидания с Малиновкой. В первую же встречу они объяснились в любви; «души любовников порхали на пламенных устах их... они соединились навеки с первым невинным поцелуем. Высоко поднималась грудь красавицы, томно тлелся огонь в глазах ее! Как преступница, стояла она перед другом своим и не смела заглянуть в глубину души, боясь найти что-нибудь противное правилам, внушенным ей почтенным родственником». На следующий день она открыла Миросладу свою тайну и привела к нему Миловида. Свидание было ужасное. «Они встречались некогда в палатах и узнали друг друга... Что делалось тогда в душе несчастного юноши? Сколько страстей стекалось в нее для борьбы между собой! Долг, сострадание, верность к престолу, родство и любовь... Но последняя превозмогает». Миловид, открывши Миросладу свое поручение, решается не исполнить его и вместо того отправиться в Москву и выпросить у Годунова прощение старцу. Но его предупредил Скрытосерд, известивший обо всем царя. Годунов в страшном гневе. «И Мирослад, и Миловид в разное время отягчены цепями, разными дорогами приведены в Москву и ввергнуты во мрак темницы; обоих ожидает смерть – и смерть постыдная!..» Уже назначена на завтра казнь. «Только последней, единственной милости перед казнью требуют два несчастливца: свидание с Малиновкой». «Я слышал, что она мастерица петь и играть на гусях, и хочу узнать опытом, такова ли велико искусство ее, как мне об этом сказали», – сказал властелин – и отдал повеление привести Малиновку в престольный град.

Царский посланник нашел ее при дверях гроба; но весть о свидании с другом, который был ей всегда верен, оживила ее. «Так не забыл меня Творец! Я могу еще умереть с ним!» – сказала она и с твердостью в душе последовала за посланным. Какое явление ожидает ее в Москве, в палатах царских! Годунов на престоле, окруженный всею пышностью двора своего. С одной стороны бояре, подпора царства русского, с другой – супруги их, цвет Москвы белокаменной, вдали... грозная стража, и между ею... отгадало ли сердце твое, несчастная Малиновка?.. – туманится образ старца и образ юноши... оба в цепях!.. Сердце ее бьется сильнее, глаза ее покрываются мрачным облаком, ноги ее готовы подломиться! – Так это они!.. один – второй отец, другой – милый друг души ее! Она хочет броситься к ним, но Годунов дает знак – и Малиновка с трепетом к нему приближается.

Никогда двор царев не украшался такими прелестями, никогда царство русское не производило подобной красоты!.. Старики желали бы иметь ее своею дочерью, молодые – супругою, а жены боярские, завидуя ей, удивлялись! Самое сердце властелина чувствует к ней сожаление. Он повелевает ей подойти к приготовленным для нее гуслиам и рассказать в песнях повествование любви ее. Какое повеление! Исполнить его трудно, не исполнить – значило бы нанести сильнейшую грозу на чету несчастливцев!.. Она садится за гусли, еще раз взглядывает на грозную стражу, на злополучного старца, на милого друга, еще раз на него... и поет... сперва побег родственника, невинность его, любовь свою и свои несчастья – и потом умолкает! На лице тирана приметно смущение; бояре и жены их закрывают платками слезы, текущие по лицу их. Малиновка видит торжество свое. Какое-то неизъяснимое предчувствие говорит ей, что в славе песней ее заключается спасение двух ближайших сердцу ее существ. Она снова поет... и надежда на великодушие царя изливается в ее песнях. Никогда чувство и природа не соединялись с большим искусством, чтобы пленять слух и сердце; никогда дарования не давали красоте столько властей, как теперь! Еще усилия любви и искусства – и Малиновка читает *милость* в глазах Годунова. «Песни твои меня тронули! – сказал властелин, побежденный в первый раз природою. – Дарования твои должны получить награду. Вот она! – прибавил он, указывая на чету несчастливцев, – тебе представляю снять с них цепи».

Не для этого привели мы довольно значительные выдержки из «Спасской лужайки» и главным образом из «Малиновки», чтобы дать читателю понятие о том, какую дребедень писал Лажечников в начале своей литературной деятельности. Мало ли всяким писателем дребедени пишется, раньше, чем он выбьется на настоящий путь, и есть ли надобность на этом останавливаться. Но в том-то и дело, что «Спасская лужайка», а в особенности «Малиновка» – дребедень крайне характерная. Если есть у вас под рукою «Бедная Лиза» или «Наталья-боярская дочь», перечитайте их. Тогда наш пересказ повестей из «Первых опытов» приобретает большую поучительность. Вы убедитесь, что «Спасская лужайка», например, ни слогом, ни концепцией, ни основной мыслью, вообще решительно ничем не ниже «Бедной Лизы». А между тем в то время, когда Карамзин вызывал своими повестями неистовый восторг, Лажечников столь же неистово истреблял свою «Спасскую лужайку», однородную с карамзинской повестью. А промежуток каких-нибудь 20 лет. Как тут, с одной стороны, не признать решающего значения исторической критики при оценке литературных произведений прошлого и, с другой стороны, как не усмотреть тут частного проявления необыкновенно быстрого роста русской гражданственности, благодаря которому вот уже почти столетие стадии умственного развития нашего измеряются не веками и полувеками, как на Западе, а двадцатилетиями и подчас даже десятилетиями. Правда, это отчасти характеризует не одну быстроту, но и поверхность: все наши «направления» заимствуются, не вытекают органически из потребностей жизни и потому столь же быстро отцветают, как и расцветают...

Что же касается «Малиновки», то при всей своей ничтожности она представляет собой весьма важный материал для установления исторически правильного взгляда на литературную ценность сочинений Лажечникова. Сопоставимте, в самом деле, «Малиновку» с «Мыслями», писанными *десятью* годами раньше, когда Лажечников еще не вышел из детского возраста. «Мысли» – вещь, может быть, и весьма незначительная, согласен. Но они все-таки *литературно* *благообразны*, не режут вас вопиющим диссонансом. Вы назовете их не особенно глубокими, может быть, банальными, но они ни в каком случае не оскорбляют элементарных литературных требований. «Малиновка» же – это какая-то совершенно непроходимая чушь, буквально какие-то сапоги всмятку. Дикое игнорирование самых примитивных

сведений о русской истории просто непонятно. Знали ведь в то время настолько русскую историю, чтобы не представлять себе двор Годунова средневековым турниром, знал, конечно, ученик Победоносцева и Мерзлякова, что женщины древней Руси были затворницы и в состав «двора» не входили и что картина импровизации Малиновки совершенно несообразна с жизнью древней Руси, с жизнью даже той лубочной древней Руси, которая рисуется в «Наталье – боярской дочери». Не мог же, наконец, не знать Лажечников, что во времена Годунова предки наши назывались какими-нибудь христианскими именами, а не Миросладами, Боголюбями, Миловидами, Скрытосердами. Да, все это, несомненно, знал Лажечников, но если тем не менее написал такую нелепицу, как «Малиновка», то, очевидно, потому, что *не было хороших образцов исторической повести*. Когда пятнадцатилетний юноша подражал хорошему писателю Лабрюйеру, – в результате получилось нечто более или менее сносное, а когда этот же юноша, десять лет спустя, значительно развившись интеллектуально, взялся за литературный род, не имевший хороших представителей, он создал нечто крайне безобразное. Не только «Мысли», но и все остальные рассуждения, помещенные в «Первых опытах», довольно удовлетворительны. Даже стихотворения «Первых опытов» не более как посредственны или слабы в худшем случае, но ни в каком случае не безобразны. Все это, очевидно, оттого, что, воспитанный на философах, Лажечников, при своей восприимчивости, с легкостью усвоил себе способ составления небольших рассуждений. Что же касается стихов, то и тут Лажечников шел по проторенной дорожке. Русская поэзия имела уже в то время такого первоклассного представителя, как Державин, наконец, уже раздались первые звуки лиры Жуковского. Но в области русской исторической повести Лажечников, кроме таких скверных образцов, как «Наталья – боярская дочь», ничего не имел. Если оставить в стороне Вальтера Скотта, который, правда, в десятых годах уже выпустил некоторые из своих исторических романов, но к нам в Россию проник только в двадцатых годах, то молодому Лажечникову некому было подражать и из представителей европейской литературы. Напротив того, нарождающийся романтизм только мог спутать его своим выдвиганием на первый план фантазии писателя.

Да, Лажечникову, когда он писал «Малиновку», некому было подражать, – это обстоятельство весьма важное. Не только тем, конечно, что объясняет нам нелепость какой-нибудь «Малиновки», а тем, что дает руководящую нить и для оценки

всей литературной деятельности Лажечникова. В той области, разработке которой посвятил свой созревший талант Лажечников, именно *в области русского исторического романа, он был одним из первых пионеров*, которому приходилось пролагать себе путь сквозь густую чащу прошлого, еле освещенную чуть брезжущим светом младенческой историографии конца двадцатых и начала тридцатых годов.

Это непременно нужно иметь в виду, и вот почему мы должны быть крайне благосклонны ко всем недостаткам и ошибкам Лажечникова, и если выдвигать что-либо, так исключительно достоинства его романов. Даже романы такого огромного художественного дарования, как Вальтера Скотта, местами кажутся современному читателю и вялыми, и скучными, и неестественными. Нам, привыкшим к тонкому анализу и реализму новейшей литературы, характеры Вальтера Скотта кажутся слишком схематичными, а «романтический реализм» его, как выражается Брандес в своих «Hauptströmungen», слишком внешним и поверхностным. Понятно, что в еще более грубую ошибку впадем мы, если станем с новейшей меркой подходить к Лажечникову, – таланту, сравнительно с Вальтером Скоттом, второстепенному. К нему нужно подойти совсем с другой стороны. Шотландский Вальтер Скотт имел перед собой прекраснейшие образцы прозаического романа – Дефо, Филдинг, Ричардсон, Смоллетт, Голдсмит, Стерн, – все люди не только не уступающие ему талантом, но некоторые даже и превосходящие. Вальтеру Скотту приходилось, следовательно, только изменить сюжет романа, из нравоописательного сделать исторический – задача сравнительно легкая, требующая только знания истории. Но русскому Вальтеру Скотту, как справедливо называют Лажечникова, такого знания было мало. Ему не только приходилось создавать русский *исторический* роман, ему почти приходилось создавать русский *роман вообще*, который до него находился в совершенно младенческом состоянии. Шотландскому Вальтеру Скотту предшествовал Голдсмит, которого и теперь с наслаждением читаешь, а русскому – такая дребедень, как романы Эмины и Измайлова и «Бедная Лиза». Правда, первый роман Лажечникова появился в 1831 г., следовательно, два года спустя после выхода в свет «Юрия Милославского» и несколько лет спустя после появления повестей Николая Полевого, в том числе его исторического романа «Клятва на гробе Господнем», а также и других более или менее сносных повестей второй половины двадцатых годов, но дело-то в том, что «Новик» был задуман и писался в середине двадцатых годов. Таким образом, Лажечников является не только качественно, но почти и

хронологически «первым русским романистом», как его прозвали, по свидетельству Белинского, тотчас после того, как «Последний Новик» превзошел общее ожидание («Литературные мечтания»). Этого пионерства Лажечникова в области прозаического романа нашего никогда не следует упускать из вида. Вот почему мы в разборе произведений Лажечникова постараемся по возможности приводить отзывы о них современников и по возможности удерживаться от критики с точки зрения современных требований искусства. Если вообще говорится, что *la critique est aisée, mais l'art est difficile*, то еще более легкою вещью является критика задним числом. Но насколько такая критика легка, настолько же она и бессмысленна, потому что от всякого писателя можно требовать только то, что вытекает из условий того или другого фазиса литературного развития. Если на всю всемирную литературу можно насчитать какой-нибудь десяток имен, к которым не нужно применять никакой исторической критики, то незначительность этого исключения только оправдывает верность общего правила. Кроме того, специально по отношению к русской литературе, не нужно забывать уже отмеченной нами кратковременности литературных периодов и быстроту умственного роста нашего. За пятьдесят лет, отделяющих нас от центральной поры литературной деятельности Лажечникова, мы сделали такие гигантские шаги в сфере духовной производительности; робкими учениками вступали мы в тридцатых годах в тот самый храм европейской литературы, в котором мы теперь такие же полноправные хозяева, как и все остальные заматерелые в цивилизации народы. Ясно, что при таких условиях историческая критика делается вдвое обязательнее.

Установивши единственно верную, исторически правильную, точку зрения на Лажечникова, устраняющую всякий дешевый критицизм задним числом, возвратимся к событиям его жизни с 1820 г. В этом году он собрал свои путевые письма, разбросанные по разным томам «Вестника Европы» и «Соревнователя просвещения и благотворения», и издал их под названием «Походные записки русского офицера», с посвящением императрице Елизавете Алексеевне. Императрица милостиво приняла посвящение и в знак своего благоволения подарила автору золотые часы.

Выпуская «Походные записки», Лажечников был уже заправским литератором. На заглавном листе книги мы читаем: «Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым, действительным членом общества любителей русской словесности при московском университете и с. – петербургского вольного общества любителей словесности». В оба общества Лажечников попал благодаря этим же «Походным запискам», когда они печатались в журналах, «Записки» очень нравились современникам. Так, например, известный основатель харьковского университета – Василий Каразин в своем докладе, читанном с. – петербургскому обществу любителей словесности, констатируя успехи, сделанные органом этого общества – «Соревнователем просвещения и благотворения», в доказательство приводит помещение в этом журнале одного из путевых писем Лажечникова, «очень занимательного для воображения» («Рус. стар.», 1871 г.). и все рецензии на «Последнего Новика» начинались констатированием большого успеха, который имели когда-то «Походные записки». 16 лет спустя, в 1836 г., потребовалось даже второе издание их. И действительно, они написаны легко и занимательно, без утомительных и ненужных военных подробностей, а почти исключительно налегая на бытовую сторону. В статье «Знакомство с Пушкиным» Лажечников пишет: «В это время готовил я к печати свои «Походные записки», в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского (автор весьма известный в начале нынешнего столетия риторики) и братии его, столь твердо выученных мне профессором Победоносцевым. Счастлив, кто забыл свою риторику! – сказал кто-то весьма справедливо. – Увы, я еще не забыл ее тогда...» Отзыв этот, однако же, несправедлив. В «Записках» относительно

мало риторики и они даже теперь читаются не без интереса. Если чего действительно слишком много в «Записках», так это морализации. По примеру Карамзина, Лажечников, по поводу всего виденного, пускается в философские размышления. Но к чести доброго сердца его нужно сказать, что размышления эти хотя и скучноваты и элементарны, но очень симпатичны. Молодой автор не находит слов, чтобы достаточно восхвалить заботы прусского правительства о народном благосостоянии, о народном образовании и т. д. А некоторые размышления Лажечникова крайне замечательны для адъютанта, завертешегося в вихре придворной жизни. Описывает он, например, как, благодаря радушию немцев, приветливо встречавших русских, ему и его спутнику удалось счастливо пропутешествовать в 1813 г. по Северной Германии, когда они вместе с герцогом Мекленбургским отправлялись на родину герцога.

«Среди солдатского похода мы совершаем самое приятное путешествие, и бедные, как Иры, наслаждаемся, подобно Крезам. Пользуйся настоящим! – говорят любезные учителя счастья, – и мы в строгой точности повинемся их учению. Следуя со станции на другую в покойной коляске на четырех быстрых конях, покоясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана, любуясь ключом шампанского, бьющего со дна прадедовского бокала, или слушая, как сок гренадских апельсинов с песком американского тростника бунтует в портере, обогащаясь каждый час новыми дарами природы и искусства, – спрашиваем, улыбаясь, друг у друга: *«Не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия? Не имеем ли нужды послать приказ к бурмистрам и старостам нашим о накладке на крестьян оброка?.. Слава Богу! Удовольствия наши не покупаются ценою кровавого пота подобных нам»*.

Судя по этим словам, совершенно идущим вразрез с крепостнически-реакционным направлением аракчеевской эпохи, можно предположить, что не вращаясь Лажечников почти исключительно в кругу адъютантов и писателей ультраблагонравного направления: Воейкова, Вяземского, Жуковского, Греча (см. «Мое знакомство с Пушкиным»), он, очень может быть, окончил бы жизнь где-нибудь на Кавказе вместе с Одоевским или Марлинским. И в самом деле, кроме только что приведенного места, в «Походных записках» встречается множество таких шпилек современным порядкам, которые ясно показывают, что Лажечников, при сравнении наших порядков с заграничными, весьма часто выносил именно те же самые впечатления, как и друзья Марлинского и Одоевского, в которых

заграничный поход заронил первые семена оппозиции и неудовольствия. Сплошь да рядом мыслящий молодой офицер, наблюдая иностранную жизнь, задает себе вопрос: отчего же у нас совсем иначе, отчего у нас все так плохо и неустроено?

Но мягкая и незлобивая натура удерживала Лажечникова от каких бы то ни было резких выводов. Поэтому, рядом с легким вольнодумством, «Походные записки» полны наиказеннейшего патриотизма, а кое-где попадаетесь и сервильность. Эта сервильность во всяком другом была бы противна. Но мы знаем, как мало извлек пользы себе Лажечников из близости к высокопоставленным лицам и «сферам». Поэтому и мнимая сервильность его превращается для нас в симпатичную преданность и энтузиазм.

Что же касается совмещения в «Походных записках» одновременно и оппозиции и благонравия, то это противоречие очень легко будет устранено, если читатель вспомнит про те две отправные точки, с которых, по нашему мнению, следует рассматривать деятельность Лажечникова. Среда и время приобщили его к официальному благонравию и казенному патриотизму, но чистота натуры никогда не пускала его закрывать глаза на правду, как бы она ни противоречила официально установленным шаблонам.

Эта же чистота натуры спасала Лажечникова от опасности замараться в грязи, как бы близко к ней судьба ни поставила его. Чтобы, например, подумали мы о всяком другом, прочитавши следующее: «Обстоятельства поставили меня в близкие отношения к М. Л. Магницкому, когда он стоял на вершине своего служебного поприща и во время его падения; я пользовался его горячим, порывистым благорасположением, слыл даже лет пять его любимцем! («Как я знал М.Л. Магницкого». «Русский вестник», 66 г., № 1). Мы бы несомненно подумали, что такой человек был одним из приспешников того знаменитого мракобесия, которым Магницкий обессмертил себя в летописях ретроградства. На самом же деле Лажечников своею близостью к Магницкому воспользовался исключительно для хорошего. Исследования гг. Попова и Феоктистова вывели на свет Божий всякие делишки не только главных, но и самых незначительных приспешников Магницкого. Ясно, значит, если «любимец» Магницкого чем-нибудь захотел бы подслужиться своему патрону, это бы, конечно, оставило след в бумагах университетского и министерского архивов, где на позор прислужников сохранились все проявления угодничества их. Лажечников полгода исправлял должность инспектора студентов казанского университета – должность важную и доверенную,

состоя на которой всякий другой, более ловкий, чем Лажечников, человек уж непременно «заявил» бы себя и, eo ipso, попал бы, конечно, и в разоблачении гг. Феоктистова и Попова, в которых, однако, ничего нет о нашем романисте, занимавшем кроме должности инспектора еще такое важное место, как директора казанской гимназии.

Все эти соображения мы приводим, так сказать, на всякий случай. Собственно говоря, они совершенно излишни, потому что испытанная *всеми, кто когда-либо сталкивался с Лажечниковым, засвидетельствованная прямота натуры его*, должна нам служить достаточной гарантией для того, чтобы безбоязненно судить об отношениях Лажечникова к Магницкому, по воспоминаниям об этом самого же Лажечникова. Вполне можем поверить Лажечникову, когда из его воспоминаний видим, что, состоя инспектором университета, он не гнул студентов в угоду Магницкому, не следил инквизиторски за их «духом», как полагалось бы. Можем вполне поверить Лажечникову, когда он сообщает, что ни разу ни одного студента не сажал в карцер, – факт, вполне гармонирующий со всем известной добротой его.

Нужно и то сказать, что Лажечникову не должно было быть особенно трудно ладить с Магницким. Прежде всего, конечно, Магницкий имел достаточный «решпект» перед таким лицом, как Остерман-Толстой, по рекомендации которого он принял Лажечникова на службу, и перед пожалованием ему часов от императрицы, что избавляло Магницкого от ответственности за политическую благонамеренность Лажечникова. Но и помимо всего этого известно, что больше всего Магницкий налегал на религиозность. Первым делом при свидании Лажечникова с Магницким у них зашла речь о религиозных убеждениях. Лажечникову не было никакой надобности лицемерить; он всю свою жизнь был человеком глубоко религиозным, даже ортодоксально религиозным. Главное, значит, было улажено. Но, с другой стороны, искренность этой же самой религиозности, которая первоначально свела Лажечникова с Магницким, удержала его от каких бы то ни было действий в духе мниморелигиозного ханжества попечителя Казанского округа. Истинная, искренняя религиозность никогда не унижается до нелепого религиозного формализма и внешнего благочестия, которым ознаменовалась «христианская» деятельность Магницкого. И тут, как и в продолжение всей его жизни, чистота, глубина и искренность натуры предохранили Лажечникова от всего того, что сделало ненавистным других представителей ортодоксально-патриотического направления.

Своей близостью к Магницкому Лажечников, как мы уже

сказали, воспользовался только для хорошего. Ему народное образование Казанского учебного округа обязано весьма многим. Определенный, тотчас по поступлении на службу по министерству народного просвещения, директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем посланный визитатором саратовских училищ, он крайне добросовестно отнесся к порученному ему делу, что доказывается усиленной благодарностью Магницкого, который, при всем своем ханжестве, был человек очень деятельный и любил, чтобы его подчиненные добросовестно, а не только формально, исполняли свое дело. И так как по отношению к низшим и среднеучебным заведениям «политика» могла играть только очень второстепенную роль, то нам нет никакого основания не вменять Лажечникову в заслугу благодарности Магницкого: она действительно доказывает, что Лажечников как следует отнесся к своей обязанности – привести в порядок крайне запущенную учебно-педагогическую часть пензенской гимназии и других училищ Пензенской и Саратовской губерний. «Отдавая полную справедливость трудам вашим, усердию к службе и основательным сведениям по управлению учебными заведениями в христианском духе», – писал Магницкий Лажечникову. «Заметьте слова: *«в христианском духе»*, – обижается Лажечников. – Уж, конечно, в этом духе, потому что я исполнял свои обязанности по долгу совести». Подтвердим и мы, что «по долгу совести», потому что кроме благодарности Магницкого, для многих, может быть, неисправимо подозрительной, у нас есть еще одно блистательное доказательство: во время визитации училищ завязалась та тесная дружба Лажечникова с Белинским, которая составляет одну из самых светлых страниц в биографии нашего романиста. Уж, конечно, Белинский не отдал бы своих симпатий человеку, который «христианский дух» понял бы в смысле Магницкого. Уж, конечно, если бы ревизия Лажечникова и управление им пензенской гимназией оставили по себе неприятные воспоминания, Белинский и его товарищи не обратились бы первым делом, по приезде в Москву, к Лажечникову за протекцией и не писал бы Белинский своему учителю М. М. Попову тотчас после первого визита у Лажечникова в Москве: «Вы доставили мне случай видеть человека, которого я *всегда любил, уважал*, любил видеть и говорить с ним».

Нам нет надобности много останавливаться на характерной дружбе «великого мученика правды» и «любимца» Магницкого. От этого нас освобождают вошедшие в настоящее издание «Заметки для биографии Белинского», впервые, так сказать, вытащенные на свет Божий (помещенная первоначально в крайне

малораспространенной еженедельной газете «Московский вестник» за 1859 год, эта в высшей степени интересная статья почти неизвестна и самым записным любителям литературы). По свойственной Лажечникову скромности, он в «Заметках» весьма много говорит о своих чувствах к Белинскому и весьма мало о чувствах Белинского к нему. Но и этого малого достаточно, чтобы видеть, что Белинский, не только тотчас по приезде своем в Москву (в 1830 году), «всегда любил и уважал Лажечникова, любил видеть и говорить с ним». Белинский до конца дней своих всегда прекрасно относился к Лажечникову и своими восторженными рецензиями о его романах немало укрепил славу их. Личные отношения их были самые душевные. «Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне; случалось мне и отечески пожурить его». Последнее подтверждается и материалами биографии Белинского, помещенными кн. Енгальчевым в «Русс. старине» 1876 года. Из них мы видим, что Белинский читал Лажечникову своего «Владимира» – это пламенный протест против крепостного права, и как Лажечников, сам возмущавшийся крепостным правом, сам при своем служебном положении решившийся заявить некоторый протест против крепостного права и в «Походных записках», и в «Последнем Новике», тем не менее действительно «отечески» советовал своему пылкому молодому другу оставить у себя в портфеле злополучную драму, которая-таки и вышвырнула Белинского из университета. Узнаем мы также из «Материалов» кн. Енгальчева, как и из «Заметок», впрочем, как Лажечников хлопотал за Белинского при поступлении им в университет.

Когда же Белинский оставил университет, Лажечников помогал ему в приискании занятий.

С течением времени, по мере того как Белинский все больше и больше уклонялся *влево*, взаимные отношения пламенного представителя нарождавшегося поколения и приближавшегося к пятидесятому году романиста оставались, однако, все в той же степени дружественные. Значение этого факта всего лучше будет установить свидетельством современника – «Литературными воспоминаниями» Панаева: «По мере того, как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильной злобой. Один из всех старых литературных авторитетов – И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и в каждый приезд свой в Петербург посещал его».

«И. И. Лажечников, – продолжает Панаев, – принадлежит^[2] к тем живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением князя Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений».

После смерти Белинского Лажечников, все более и более приближаясь к старости и даже дряхлости, тем не менее оставался страстным почитателем его памяти. «Заметки», писанные Лажечниковым в 1859 году, следовательно, на 67-м году жизни, дышат таким лирическим восторгом, такой пламенной любовью к великому критику и его деятельности, что сделали бы честь и сердцу юноши.

Восемь лет спустя, значит семидесятипятилетним стариком, Лажечников выпустил отдельным изданием своего «Опричника». Оно посвящено «памяти В. Г. Белинского». Это простенькое посвящение, однако, не лишено значения, потому что в 1867-м уже настолько сильно подули разные обратные зефиры, что многие прежние друзья Белинского поспешили забыть о своей дружбе с «неистовым Виссарионом» и уж во всяком случае не выставляли ее напоказ. Лажечников в это время как раз вращался в среде отрекшихся от Белинского прежних друзей его, самая книжка с посвящением напечатана в типографии такого бывшего друга Белинского; в его журнале Лажечников в это время печатал свои произведения, в его лицей он определил своего сына. Не без влияния осталась эта среда – под давлением ее была написана «Внучка панцирного боярина», где запаха Страстного бульвара немало. Но уважение к Белинскому сидело слишком глубоко в Лажечникове. Этот талисман прежних дней он сохранил свято.

Служба Лажечникова в Казанском округе, или, как он сам называет ее, «казанское пленение», – так ему было противно видеть мракобесие и дикое ханжество Магницкого, – продолжалась шесть лет. В конце 1820 года, он, как уже сказано, был назначен директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем послан визитатором саратовских училищ. В декабре 1823 года Магницкий, в благодарность за успешную визитацию, назначил Лажечникова директором Императорской казанской гимназии и директором училищ Казанской губернии.

Состоя в должности директора казанской гимназии, в которой учился Державин, Лажечников воспользовался своей близостью к Магницкому, чтобы выдвинуть идею о постановке памятника певцу «Водопада». Опять-таки, значит, воспользовался своим положением «любимца» для хорошего дела, по крайней мере, по мнению Лажечникова. Да и кто тогда не поклонялся величию Державина, кто не считал полезным для отечества делом увековечение памяти столь великого песнопевца? «На торжественном акте гимназии, в конце 1825 года, в речи, им произнесенной, Лажечников в первый раз горячо выразил обязанность соорудить в Казани памятник Державину, ученику казанской гимназии. Смело можно сказать, что речь эта была первым краеугольным камнем, поставленным в основание памятника» (Автобиография Публичной библиотеки). Речь Лажечникова через два года была напечатана в издававшемся Воейковым «Славянине», откуда узнаем, что тотчас после речи присутствовавший на акте «господин управляющий Казанской губернией, статский советник А. Я. Жмакин, всегда готовый содействовать благонамеренным видам, клонящимся к пользе и славе отечества, изъявил ревностное желание собранием пожертвований осуществить предложение г. директора, в случае соизволения на это высшего начальства» («Славянин», 1827 г., стр. 438). Соизволение последовало, так что Лажечников по праву мог сказать: «последствия (поддержки Жмакина) известны: памятник Державину стоит на площади против университета. Горжусь, что я положил первый камень в основание этого памятника» («Как я знал Магницкого»).

В конце 1825 и начале 1826 года Лажечников несколько месяцев исправлял должность инспектора студентов и вскоре затем, вырвавшись «из плена казанского», вышел в отставку и поселился в Москве.

«В это время, – пишет Лажечников в Автобиографии

Публичной библиотеки, – задумал он своего «Последнего Новика», собирал для него исторические материалы и, чтобы вернее изобразить места, где происходили события избранной им эпохи, сделал путешествие в Лифляндию, которую исколесил вдоль и поперек, большей частью проселочными дорогами».

Итак, только тридцати лет от роду Лажечников ступил, наконец, на настоящую дорогу, и только через пять лет, т. е. имея уже целых сорок лет за собой, он выступил перед публикой в качестве исторического романиста. Так что вполне прав был Белинский, когда, говоря о «Новике» в «Литературных мечтаниях» и перечисляя разные качества Лажечникова: «талант, образованность, пламенное чувство», прибавлял к ним, на основании своих частных сведений, «опыт лет и жизни». Но имел ли, однако, этот опыт какое-нибудь существенное влияние на творчество нашего романиста? «Умудрил ли» его этот опыт в том смысле, как он умудряет огромное большинство людей, то есть показал ли ему тщету стремления к правде и идеалу? Ничуть. Мы уже несколько знаем из истории его отношений к Белинскому и еще больше убедимся в этом из дальнейших свидетельств разных лиц, знавших Лажечникова, как он до самой глубокой старости оставался чистым и увлекающимся юношей. Только в том отношении опыт лет повлиял на Лажечникова, что уничтожил в нем чрезмерную сентиментальность на карамзинский образец. Но преклонение перед добром и благородством, уверенность, что ими должна направляться жизнь наша, глубина чувства и поэзия, – все это свято и нерушимо хранил в себе Лажечников в продолжение всей своей жизни, и все это придает еще до сих пор неотразимую прелесть всем его произведениям, несмотря на все их недостатки с точки зрения современных требований искусства. Даже в шестидесятых годах, когда ни о какой исторической критике и слышать не хотели, когда валили Пушкина, чистота души Лажечникова, так ясно сквозящая через все его произведения, не оставалась без влияния на суровых рецензентов того времени и заставляла их мягко относиться даже к слабым произведениям последних лет его жизни, – произведениям, в которых было меньше таланта, чем в «Новике», «Ледяном доме» и «Басурмане», но столько же пламенной любви к добру и красоте.

Но если такое обаяние производил ансамбль творческой личности Лажечникова еще в шестидесятых годах, то нетрудно представить себе, какой восторг должны были возбудить романы его, – эти страстные апологии благородства и возвышенности, – в тридцатых и сороковых годах, в эпоху чувства и экспансивности по преимуществу. И действительно, с появления первых же частей

«Новика» начинается жгучая популярность Лажечникова, быстро затмившая популярность всех других прозаиков той эпохи и поставившая его в ряд первоклассных литературных деятелей своего времени.

Что же такое представлял собой этот роман, который, по отзыву Белинского, «есть произведение необыкновенное, озаглавленное печатью высокого таланта»?

«Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне», – прямо заявляет Лажечников в 1-й главе «Последнего Новика».

Этими немногими словами определена вся сущность романа, все его достоинства и недостатки. «Последний Новик» в полном смысле слова – апофеоз любви к родине, правда, любви, современного человека не особенно-то удовлетворяющей, но тем не менее искренней и горячей. Немного найдется в русской литературе произведений, которые в такой степени были бы проникнуты восторженной привязанностью к родной стране, как «Последний Новик». Даже среди романов самого Лажечникова, всегда и неизменно клонящихся к прославлению родины, «Новик» выделяется своим горячим патриотизмом. В «Ледяном доме», например, патриотизм Волынского если и составляет один из главных узлов романа, то все-таки не единственный. Не меньшую роль играет в романе и страстность его, а также действия Бирона и его приверженцев. Но в «Последнем Новике» все творческое внимание автора сосредоточено на лицах, посвятивших себя служению родине. Не только главные лица романа, Паткуль и Новик, отдали всю свою жизнь благу отчизны, но даже второстепенные – капитан Вульф, геройски себя взрывающий, дабы не посрамить чести шведского знамени, князь Вадбольский, карла Шереметева, Голиаф Самсоныч, сам Шереметев, Траутфеттеры, изнывающий от тоски по родине швейцарец, отец Розы, целая многочисленная галерея патриотов-солдат, наконец, Петр, Меньшиков, – все они постоянно думают о благе родины, отодвигая на задний план все другие свои интересы. Самый выбор сюжета, именно завоевание русскими Лифляндии, обусловлен патриотизмом автора. «На случай вопроса: почему избрал я сценой для русского исторического романа Лифляндию», автор поясняет, что остальные места России или не имеют исторических воспоминаний, следовательно, не возбуждают народной гордости, или же достаточно для последней цели эксплуатированы разными писателями. Лифляндия же – «Эрастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург, Канцы, Луст-Эйланд – ныне имена мест, едва известные русским, между тем как в них происходили великие явления», очень почетные для

России: «везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно».

Если такое страстное и искреннее желание прославить родину, усилить любовь к ней сынов ее воспоминаниями о славном прошлом не может не расположить к себе читателя и составляет, следовательно, одну из сильных сторон романа, то, с другой стороны, этот же пламенный патриотизм значительно повредил «Последнему Новiku». Даже оставляя на время без внимания то обстоятельство, что патриотизм действующих лиц «Новика» весьма внешнего свойства, нельзя не видеть, что желание Лажечникова создать лицо, которое являлось бы апофеозом любви к родине, завлекло его в непролазные дебри неправдоподобности и искусственности. Главный герой романа, давший ему название, Новик Владимир – фигура крайне неудачная, безжизненная, состоящая из одной только любви к родине, без всякой примеси каких бы то ни было других чувств и страстей. А между тем сам же автор, рассказывая жизнь Новика до того, как начался роман, представляет его человеком крайне необузданного нрава и честолюбия. Эта же необузданность проявляется с ужасной силой в конце романа, точно Новик хотел сразу освободить весь запас страсти, накопившейся у него в течение долгого мыкания за пределами России. Очевидно, значит, у Лажечникова была мысль рельефно показать, до какой степени любовь к родине облагораживает человека. Вышло, однако, не рельефно, а лубочно.

Такого же невысокого калибра обрисовка патриотизма остальных действующих лиц. Он не идет дальше обычных двух пунктов казенного патриотизма того времени: желания, «славы» своему отечеству и покорности. «Слава», конечно, ратная, по преимуществу «русская удаль», «русское молодечество», «голову свою сложим», «не посрамям земли русской», «верные слуги» и т. д., все в том же ортодоксально-благонамеренном роде, – вот элементы этой «славы», распространяться о которых нет надобности, потому что мы по горло достаточно знакомы с ними по малиновому звону передовиц «Руси» и грому статей «Московских ведомостей». Но, понятно, что мы не можем относиться к Лажечникову за его внешний и казенный патриотизм с такой же ненавистью, с какой относимся к Каткову и Аксакову. Это люди, которые имеют возможность быть истинными патриотами, но не желают, а Лажечников был не более как сын своего века. Вспомните, что и Белинский написал «Бородинскую годовщину». Перечтите, наконец, произведения самого Рылеева, его «Ивана Сусанина» и др., и вы увидите, в какую страшную ошибку впадете, если вмените Лажечникову в вину то, что было достоянием почти всей тогдашней

интеллигенции, за самыми ничтожными исключениями. Притом же, как уже намечено нами в начале настоящего очерка, внешний патриотизм с такой искренностью и страстностью исповедуется Лажечниковым, что в этом следует видеть исключительно заблуждение ума, и притом не индивидуальное. Когда мысль века получила другое направление, Лажечников с пламенным восторгом примкнул к периоду реформ, наступившему после Крымской войны. Все это оттого, что в чистоте и искренности патриотизма Лажечникова, хотя бы и внешнего, таился источник чуткости ко всему хорошему. Вот почему вы и в настоящее время смело можете рекомендовать всякому юноше романы Лажечникова, между тем как вы его всеми силами постараетесь отговорить от «Руси» и «Московских ведомостей». В «Руси» и «Московских ведомостях» фальшь преднамеренная и корыстная, будящая самые отвратительные инстинкты, а у Лажечникова если и заблуждение, то не преднамеренное, но зато столько искреннего чувства и увлечения, которое в восприимчивой душе вызовет непременно такой же отзвук. А уж дать ему другое направление, раз добывши золотую руду, сделать из него надлежащее употребление – это уже дело нетрудное.

Но есть, впрочем, в патриотизме Лажечникова, и именно в патриотизме, которым он наделил Владимира, одна черта, по нашему мнению, крайне замечательная и с современной точки зрения. Мы говорим о той готовности, с которой Новик исполнял роль шпиона. Один из позднейших критиков Лажечникова – господин Нелюбов, автор в общем не лишенной достоинств статьи о нашем романисте («Русский вестник» 1869 г., № 10), об этом факте вот какого мнения: «В главной личности романа, в характере Новика, есть сторона, с которой нравственное чувство читателя не может примириться. Средства, к которым прибегает Владимир для того, чтобы загладить свои преступления перед Петром Великим, в глазах Петра могли уменьшить вину Новика, но в глазах читателя могут только ее увеличить. Читателю бывший преступник не делается милее от того только, что он превратился в шпиона и лицемера; напротив, он только падает в глазах читателя, и нужна вся теплота и вся поэзия автора, чтобы картиной страдающей и неутолимой любви Новика к России заставить забыть тот способ действий, к которому эта любовь привела героя». Думаем, совсем наоборот. Именно современному читателю образ действий Владимира может показаться крайне симпатичным. Именно современный читатель, отставший от формалистики в нравственных вопросах, может увидеть в шпионстве Новика факт высокого героизма и необыкновенную глубину патриотизма. Не особенно трудно любить родину под

звуки торжественных труб и литавр, когда вас ждет за это и почет, и слава, и всяческие блага земные; не особенно трудно любить родину в парадной одежде дипломата, в почетной роли патриотического журналиста, романиста и т. д.; естественно также быть патриотом, когда защищаешь неприкосновенность своего жилища, своего домашнего очага, но громаднейший запас истинного, глубокого и бескорыстнейшего патриотизма нужно иметь в себе, чтобы приносить пользу родине, взявши на себя весь позор так называемых «нечистых средств»!.. Ведь нелегко прибегать к ним. Не раз, конечно, у Владимира, поставившего суть выше формалистики, обливалось сердце кровью, когда приходилось накликать гибель на людей, лиц, в сущности не виноватых же тем, что судьба поставила их по пути осуществления известного идеала; не раз, конечно, целый ад кипел в груди, когда он решался на ту или другую меру, по существу своему глубоко омерзительную и, однако же, единственно действительную при известным образом сложившихся обстоятельствах. Положение нечеловечески мучительное, безысходный трагизм которого один только и дает возможность вынести душу свою из этой грязи столь же чистой, какой и окунаешь ее туда...

Некоторые критики тридцатых годов находили, что Лажечников заставил своего героя быть шпионом под влиянием Куперова «Шпиона». Едва ли это верно. Весьма вероятно, может быть, безусловно верно, что, когда Лажечников создавал фигуру Новика, ему был известен куперовский «Шпион». Но, не говоря уже о том, что и простое подражание делало бы в данном случае честь глубине понимания Лажечниковым истинного патриотического чувства, мы в «Новике» же находим доказательства того, что Лажечников настолько хорошо понимал всякое истинное чувство, что пренебрежение Владимиром так называемых «нечистых средств» ни в каком случае не может быть названо чертой наносной, продуктом простого подражания. Приглядитесь, в самом деле, к одной из прелестнейших, истинно поэтических фигур «Новика» – швейцарке Розе. Если отделаться от впечатления некоторых чисто технических, в сущности внешних неуклюжестей, обусловленных литературными вкусами того времени, и если обращать внимание исключительно на *правду психологическую*, то фигура Розы, по справедливости, должна быть названа прекрасным изображением истинной и глубокой страсти. Твердо устоял Лажечников против искушения дать читателям своим картину прилизанной, чопорной и жеманной любви, во вкусе тогдашнего благонравия. Его Роза любит действительно беззаветно и потому не рассуждает, где

нужно действовать, не стесняется сухим формализмом там, где чувство подсказывает ей образ действия, диаметрально противоположный правилам бездушной и ложной морали. Что может быть трогательнее и поэтичнее того момента, когда Роза, для спасения друга сердца – Паткуля, окунается на самое дно так называемых «нечистых средств», когда она, для возможности проникнуть, не возбуждая подозрения, в темницу к Паткулю, сначала «голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть гневу караульного офицера, сторожащего тюрьму, старается уговорить его такими словами: «позвольте мне к заключенному... вам известно... я, презренная тварь, люблю... связи давнишни», а потом, когда это не подействовало, добывает себе пропуск тем, что исполнила волю пьяного солдата – дала себя поцеловать и сама «называла своего мучителя милым, добрым господином, целовала его поганые руки». Такова истинная любовь, истинная глубина и чистота души, которую никакая грязь не может осквернить. Вы ясно видите, что, понадобится, Роза и не только поцеловать себя позволит ради спасения избранника души. Отчего ей не называть себя «презренной тварью», отчего ей даже не стать, формально, конечно, такой «презренной тварью», когда на самом деле она чище голубицы, когда при других обстоятельствах она с презрением отвергнет целые сокровища.

Чтобы еще резче подчеркнуть глубину чувства Розы, Лажечников оттенил ее любовью к Паткулю фрейлины Ейнзидель. Эта кисло-сладкая немка любила по всем правилам строгой морали и оттого-то она не сделала ни одного шага для спасения любимого человека, в то время, когда Роза жертвовала ему честью и жизнью. «Да, любезнейший друг, – говорит Лажечников устами Траутфеттера, – теперь только узнал я, что может женщина, которая любит!.. Роза – это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колена».

Это говорится о *любовнице!* Укажите-ка другие произведения тридцатых годов, где было бы столько отсутствия формализма, столько демонстративного преклонения перед явлением, идущим вразрез с требованиями апробованных шаблонов.

Столь же большую честь приносят Лажечникову те немногие места романа, где он робко выражает протест против крепостного права. Конечно, нам эта робость кажется архаичной. Но вспомните, время-то какое тогда было – 1832 год, эпоха военных поселений и строжайших мер против крестьянских бунтов. Пропустила бы что-нибудь более резкое тогдашняя цензура? Белинского, за *писанную* драму, протестующую против крепостного права, выгнали из университета.

Вспомнивши время, когда писался «Новик», отдадим также дань уважения Той добросовестности, с которой Лажечников отнесся к своей задаче *исторического* романиста. «Чего не перечитал я для своего «Новика!» – пишет он в любопытной статейке своей «Мое знакомство с Пушкиным». – Все, что сказано мной о Глике, воспитаннице его, Паткуле, даже Бире и Розе и многих других лицах моего романа, взято мной из Вебера, Манштейна, жизни графа А. Остермана на немецком языке, 1743 года, *Essai critique sur la Livonie par le compte Bray*, Бергмана *Denkmäler aus der Vorzeit*, старинных немецких исторических словарей, открытых мной в библиотеке сенатора графа Ф. А. Остермана, драгоценных рукописей канцлера графа И. А. Остермана, которыми я имел случай пользоваться, и, наконец, из устных преданий мариенбургского пастора Рюля и многих других, на самых местах, где происходили главные действия моего романа».

В приведенной нами выписке из автобиографии Публичной библиотеки говорится, что изучение Лажечниковым источников началось в 1826 г. Мы имеем, однако же, документальное доказательство, что это изучение началось несравненно раньше. В самом деле, в «Походных записках» под 1815 годом мы находим целый отрывок: «История города Дерпта», читанный Лажечниковым Воейкову и Жуковскому, когда он, в промежуток между кампанией 1814 и 1815 гг., вместе со своим полком находился в Дерпте. Вот когда еще, следовательно, наш романист заинтересовался Лифляндией и вот когда началось изучение ее. Подобное тщательное изучение делает величайшую честь Лажечникову, потому что в то время в русской литературе об этом еще не имели понятия. Мы знаем, что еще в 1817 году Лажечников выпустил свою «Малиновку», представляющую собой совершенно невероятное игнорирование самых элементарных исторических фактов. Надо полагать, что романы Вальтера Скотта с их замечательной эрудицией выяснили Лажечникову задачи истинно исторического романиста. Но, во всяком случае, в русской литературе Лажечников был пионером подобной тщательной подготовки. Появившийся в 1829 году «Юрий Милославский», правда, тоже носил отпечаток порядочной эрудиции. Но тем не менее у Лажечникова не может быть отнято право пионерства, потому что в 1829 году он был уже в разгаре подготовительной работы.

Но что делает еще большую честь Лажечникову – это путешествие в Лифляндию для ознакомления с местностью. До такой тщательности и до такого стремления к реализму доходит не всякий исторический романист даже и в наше время, когда

реализм при рисовке внешней обстановки стал неперменным требованием. Что же касается тридцатых годов, то достаточно вспомнить рассказ Панаева о том, как Загоскин описывал Испанию и Италию по лакутинским табакеркам.

Таковы разнообразные достоинства «Новика». Что же касается не менее многочисленных недостатков его, то, верные принципу исторической критики, мы не станем останавливаться на тех из них, которые обусловлены общим характером тогдашнего времени, тогдашних литературных понятий и вкусов. Если мы позволили себе неодобрительно отнестись к Владимиру, то исключительно потому, что и современникам он казался «образом без лица» («Литературные мечтания»); но мы не станем пускаться в дешевый критицизм по поводу того, что злоба какого-нибудь кучера Франца и чухонки Ильзы на барона Фюренгофа играет решительнейшую роль в завоевании русскими Лифляндии, что целый ряд *dei ex machina* является для распутывания узлов, завязанных романистом, что в бароне Фюренгофе и Никласоне мы видим полное олицетворение злодейства, не смягченное ни одним светлым штрихом. Все это совершенно в духе тридцатых годов, все это в такой же степени встречается у величайших представителей тогдашней литературы, у Вальтера Скотта, Виктора Гюго и т. д. Можно ли, например, нападать на крайнюю запутанность интриги, утомляющую современного читателя, когда в журнале, издававшемся одним из проницательнейших критиков своего времени, предшественником и непосредственным учителем Белинского, – именно в «Телескопе» Надеждина, мы находим следующее объяснение: «...почему роман Лажечникова читается с истинным удовольствием. Это происходит оттого, что он умел опутать все выведенные им лица волшебной сетью, коей не в силах распутать беспрестанно раздражающееся любопытство. Умение сие неоспоримо составляет одно из важнейших начал романической занимательности, и посему-то «Последний Новик», несмотря на разные свои недостатки (идет перечисление их), возбуждает искреннее к себе участие» («Телескоп», 1831 г., ч. 4, стр. 513). Как видите, то самое, что нас утомляет, в свое время составляло *rice de resistance* романа. Можем ли мы нападать на искусственность фигуры хитрого чертенка – сына Ильзы, когда современные рецензенты, вполне одобряя самый тип, находили только, что он сбивается на вальтер-скоттовского Флибертижибета из «Кенильворта»? Могут ли нас шокировать необузданные страсти Ильзы, когда необузданность и «титаничность» составляют одну из характерных особенностей эпохи появления «Последнего Новика»? Прочтите «Воспоминания» Панаева, и вы увидите, что

даже такие мирные чиновники, как Кукольник, напускали на себя титаничность и дикость страстей, взятую, конечно, напрокат у героев «Notre dame De Paris» и других произведений только что народившегося романтизма. Можем ли мы, наконец, нападать на Лажечникова за слишком идеальное изображение Петра, Екатерины или за крайне одностороннее отношение к раскольникам, когда этот недостаток исключительно зависел от младенческого состояния русской историографии того времени? Этот же самый Лажечников лифляндцев и Лифляндию описал несравненно вернее. А отчего? Оттого, что у него для Лифляндии и лифляндцев было много источников – с перечислением их мы знакомы, – а для ознакомления с Россией и русскими того же времени почти ничего не имелось. В тридцатых годах Петра знали только по апологии Голикова и по анекдотам Штелина. И так как затем у всех перед глазами были плоды петровского насаждения цивилизации, то удивительно ли, что личность великого преобразователя была окружена совершенно мифическим ореолом. Одним из пунктов западнической «веры» являлось боготворение Петра. Если же славянофилы нападали на него, то не касаясь полубожественного величия его личности, а только не одобряя направления этого величия в сторону гнилого Запада. Лажечников не имел никаких данных держаться иного взгляда на Петра и отступить от общего всей тогдашней интеллигенции героического представления о нем. Что же касается Екатерины, то и ее идеализация, весьма просто и вполне извинительно для автора, объясняется пиететностью к памяти ее великого супруга.

Но если нельзя ставить в вину Лажечникову слишком пристрастное отношение к Петру, если его вполне можно извинить тогдашним младенческим состоянием исторического материала, касающегося Петра, то еще менее можно обвинить Лажечникова за узкоортодоксальный взгляд на раскольников и неверное изображение личности Андрея Денисова. Давно ли стали у нас мало-мальски правильно смотреть на раскол, да и стали ли? Мало ли еще и теперь найдется людей между самыми выдающимися представителями передовой интеллигенции нашей, которые крайне враждебно относятся к расколу и видят в нем исключительно дикое невежество и фанатическую заскорузлость?

А теперь, высказавши относительно «Новика» несколько соображений «от себя», перейдем к тому, что всего важнее при оценке всякого деятеля прошлого, – к отзывам современников. Для исторической критики, желающей выяснить действительное значение того или другого литературного деятеля прошлого, нет

ничего драгоценнее современных рецензий. Конечно, для всемирных гениев, стоящих, так сказать, вне времени и пространства, современные рецензии – вещь второстепенная; гении велики, с какой стороны к ним ни подойдешь. Иной раз современники даже не в состоянии понять всего величия того или другого гения, иной раз оно только потомкам и становится ясно. Но для писателя не первоклассного, в свое время имевшего успех и пришедшегося вполне под общий уровень, современный отзыв-вещь решающая. То, что позднейшему читателю кажется банальностью, в свое время нередко бывало новым открытием, то, что позднейшему критику кажется приторным, в свое время было благоуханнейшим цветком поэзии и так далее.

«Последний Новик» не сразу приобрел себе ту популярность, которой он пользовался впоследствии. Это объясняется тем, что роман выходил по частям. Сначала появилась в альманахе «Сиротка» 1831 г. первая глава первой части, именно «Долина мертвецов», а затем, в том же 1831 г., но не одновременно, – первые две части целиком. Публика и критика, хотя и страшно интересовались в то время всяким историческим романом, все-таки очень осторожно отнеслись к первой части, откладывая свое окончательное суждение до окончания романа. «Северная пчела», например, ограничилась только кратким пересказом и прямо заявила, что «по вышедшей первой части нельзя еще судить о целом романе» (№ 109, 1831 г.), и затем упрекнула автора за растягивание времени выхода. «Весь роман будет в четырех частях. К чему выдавать по одной части? Неужели мы должны будем ждать каждой части через год, как ждем продолжения «Монастырки» (Погорельского)? Еще сердитее отнесся к новому роману «Северный Меркурий». Напомнивши публике, как «денежки» ее пропали за Полевым, так и не окончившим своей «Истории русского народа», рецензент сердито кончил тем, что «до выхода остальных частей романа г. Лажечникова ничего не можем сказать о нем: ни доброго, ни худого» (№ 62 за 1831 г.). Но уже появление второй части значительно подняло успех романа. Надеждинский «Телескоп» дал о нем чрезвычайно благосклонный отзыв, с некоторыми местами которого мы уже знакомы. Обе части романа «душевно порадовали» критика «за русскую литературу». Действующие лица романа, по его мнению, «одушевлены истинной жизнью и соединены между собой тесными узами. Все у г. Лажечникова вплетено в одну общую ткань, все прицеплено к одному общему интересу. Каждому лицу дана своя удельная тяжесть, по силе которой оно производит большее или меньшее давление на ход всего романа. Коротко сказать – роман г. Лажечникова своей художественной

организацией напоминает лучшие современные европейские романы». По мере выхода остальных частей успех «Новика» все больше и больше рос, а когда он вышел окончательно, в 1833 г., Лажечников отодвинул на второй план всех до него выступивших исторических романистов, в том числе и гремевшего в то время Загоскина. Лажечников был признан первым русским романистом. Та же самая «Северная пчела», которая прежде так осторожно отозвалась о «Новике», теперь писала: «Наконец, роман сей, нетерпеливо ожидаемый многими, явился вполне. Кто вникал в способ изложения и приемы известных писателей, тот, конечно, согласится с нами, что г. Лажечников в романе своем не подражал ни Вальтеру Скотту, ни кому-либо другому из славнейших современных романистов. Видны следствия хорошей начитанности и долговременного изучения, но видно также, что автор измерял только по ним свои силы, творил собственными средствами и, так сказать, без справок с тем или другим из своих предшественников: как произвести то или кончить это? Повсюду заметна у него благоразумная отчетливость в создании, не стесняющая свободы воображения, но и не дающая излишней воли своенравным скачкам его». Переходя к действующим лицам романа, критик находит, что «главное достоинство романа, сочиненного г. Лажечниковым, то, что почти все лица его действуют каждое в своем кругу, каждое сообразно своему положению и назначению и что действия их удачно связаны с событиями главными, дающими жизнь и занимательность роману». «Занимательность целого и подробностей счастливо поддерживается с начала до конца, и, несмотря на вышесказанную многосложность завязок, роман везде идет своим порядком, везде герой оного привязывает к себе внимание читателя. Тон рассказа вообще хорош и заманчив. Повесть последнего Новика и изображение Паткуля в темнице и на эшафоте написаны мастерским пером. Многие картины и сцены романа имеют неотъемлемое достоинство новости вымысла и смелости воображения». В заключение критик пишет: «...многие любители чтения и люди со вкусом признали «Последнего Новика» за лучший из русских исторических романов, донныне появившихся. Рецензент, после приведенных им доказательств, вменяет себе в обязанность объявить, что он совершенно разделяет сие мнение» («Северная пчела», 1833 г., № 13–15, статья О. Сомова).

Несколько сдержаннее отнесся «Московский телеграф» Полевого. Рецензент (судя по тонкости и меткости замечаний, должно быть, сам Полевой) кое за что пожурил автора, но, «беспристрастно указывая на недостатки сочинения г.

Лажечникова, скажем с таким же беспристрастием, что оно отличается и великими достоинствами своего рода. Главное: в нем есть жизнь, есть поэтическое одушевление» (ч. 51, за 1833 г., стр. 328). Не останавливаясь на других похвалах рецензента, с особенным удовольствием приведем следующую, касающуюся личности автора: «Скажем, наконец, что немалое достоинство видим мы в каком-то особенном простодушии описаний автора. Читая его, видите прекрасную душу, на которой, как на безоблачном небе, рисуются чуждые ему облака страстей человеческих. Он понимает все оттенки их, но смотрит на них по-своему, и оттого изображает оригинально». Характеристика замечательно верная, вполне совпадающая с тем, что нам и из других источников известно о прекрасном, кротком характере Лажечникова, которому, однако же, ничто человеческое не чуждо. Ничто хорошее человеческое, впрочем. Зло он понимал плохо, и оттого его злодеи так мрачны с головы до пят: незнакомый с психологией зла, Лажечников создавал своих злодеев схематически.

Но самый лестный и наиболее для нас любопытный и авторитетный отзыв о «Новике» дал Белинский в своих «Литературных мечтаниях»:

«Г. Лажечников не из новых писателей: он давно уже был известен своими «Походными записками офицера». Это произведение доставило ему литературную известность. Но, как оно было написано под карамзинским влиянием, то, несмотря на некоторые свои достоинства, теперь забыто, да и сам автор называет его грехом своей юности. Но как бы то ни было, а г. Лажечников пользовался по нем славой литератора, и потому все ожидали его «Новика». Г. Лажечников не только не обманул сих надежд, но даже превзошел общее ожидание и по справедливости признан первым русским романистом. В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное, озаменованное печатью высокого таланта. Г. Лажечников обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностью, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым, в своем роде, произведением автора; отсюда двойственность интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе!»

Вслед за тем Белинский кое за что упрекает Лажечникова (за Владимира), многое хвалит и, наконец, резюмирует: «...заключаю: «Новик» обнаруживает в авторе высокий талант, удерживает за

ним почетное место первого русского романиста».

В публике «Новик» имел громаднейший успех. В течение первого же года после выхода всех частей романа потребовалось новое издание, а через несколько лет и третье. А между тем стоил «Новик» ужасно дорого: 20 руб. на ассигнации, что, принимая в соображение тогдашнюю, сравнительно с нынешней дороговизной, дешевизну, ни в каком случае не есть меньше 20 руб. серебром.

Заговоривши о материальном успехе Лажечникова, приведем кстати еще несколько данных об этом, извлеченных из имевшихся в нашем распоряжении подлинных договоров Лажечникова с разными книгопродавцами. В 1836 году Лажечников задумывал оставшийся неоконченным роман «Колдун на Сухаревой башне». Роман был еще только задуман, и уже книгопродавец Глазунов нотариальной бумагой обязывался уплатить за него 19000 руб. ассигнациями. В этом же году Лажечников заключил договор с книгопродавцом Ширяевым, по которому получал за предстоящее издание «Басурмана» – 20000 руб. ас. Цифра громадная, свидетельствующая о гигантском успехе. Едва ли наши современные литературные корифеи получают столько. Недавно сообщалось в газетах, что Гончаров продал право на все свои сочинения за 25000 руб., а тут 20 000 р. за один только роман, правда, ассигнациями, но, как мы уже сказали только что и что может быть доказано сравнительным сопоставлением цен, тогдашний рубль ассигнациями и теперешний quasi-серебряный положительно равноценны.

Но этот же самый Лажечников в 1857 году за полное собрание своих сочинений получил уже только 2750 руб. серебром, что и на ассигнации-то выйдет только около 10 000 руб. Ehen! fugaces labuntur anni! – как говорит старик Гораций.

В 1831 году Лажечников снова поступил на службу и был назначен директором училищ Тверской губернии. Когда вышли все части «Последнего Новика», Лажечников через министра народного просвещения поднес Их Величествам экземпляр своего романа, за что Его Величество Государь Император и Ее Величество Государыня Императрица Все-милостивейше пожаловали автору по бриллиантовому перстню. В марте 1834 года Лажечников, за ревностную службу, награжден всемилостивейше 1000 руб. ассигнациями. В 1837 году, за «благоразумные распоряжения и деятельность в приведении учебных заведений Тверской губернии в должный порядок и устройство», ему изъявлена благодарность от попечителя Московского округа графа Строгонова. В 1837 году Лажечников снова вышел в отставку, награжденный полной пенсией и правом ношения директорского мундира.

Таковы рамки формулярного списка за период вторичной службы нашего романиста, в продолжение которой он успел окончить «Новика» и написать «Ледяной дом».

Более интимные сведения о тверском периоде жизни Лажечникова находим мы в «Воспоминаниях» известной Татьяны Пассек. Страницы, посвященные г-жей Пассек воспоминаниям о близком знакомстве ее и мужа ее – даровитого Вадима Пассека – с Лажечниковым, крайне характерно обрисовывают симпатичную личность нашего романиста, и потому приводим их целиком:

«Зимой (1834 г.) мы (г-жа Пассек и ее муж) поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды, посетив бал в благородном собрании, в толпе я заметила человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо; над высоким лбом был высоко приподнят вверх целый лес волос с проседью. Движения его были торопливы и робки.

– Кто это такой? – спросила я одну даму, указывая на него.

– Иван Иванович *Лажечников*, – отвечала она, – директор гимназии, писатель.

– Автор «Последнего Новика»? – поспешно прервала я ее. – Это наш первоклассный романист! Что за прелесть его «Новик»! Если вы знакомы с ним, сделайте одолжение, представьте ему нас.

Спустя несколько минут Лажечников уже сидел между мной и Вадимом, и у нас шел такой оживленный разговор, что мы не

замечали, как мимо нас мелькали танцующие пары, и не слышали, как гремел оркестр музыки.

С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трех месяцев, проведенных нами в Твери, редкий день с ним не видались. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман «Ледяной дом» и постоянно читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства, мысли их отражались в чертах его лица, в его голосе, и картины оживали. Лажечникова чрезвычайно забавляли наши рассказы о странностях, оригинальных капризах и выходках Ивана Алексеевича *Яковлева* (отца Герцена). Его уединенный образ жизни, три польские собачки, постоянно находившиеся при нем и, с того времени, как Александр (Герцен) поступил в университет, а я вышла замуж, заменявшие нас; его поношенный халат на мерлушках, красная шапочка с лиловой кисточкой, мешание в печи дров, – все это так нравилось Лажечникову, что он принарядил этими странностями добродушного чудака советника и при нас же вместил в свой «Ледяной дом».

Рассказавши затем о разных своих тверских знакомых, г-жа Пассек продолжает: «Никто так искренно и глубоко не привязался к нам, как Лажечников.

Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался весь, пылко, искренно, как юноша. Он и был юноша, несмотря на свои сорок лет. По живости чувств и впечатлительности – казался ровесником Вадима.

Он был юноша из числа той фаланги юношей, которые названы Александром (Герценом) героическими детьми, выросшими на мрачной поэзии Жан-Жака, к которым он причисляет всех детей революции и которые в наш настоящий деловой век встречаются так редко, так редко, как *южная птица у полюсов*. Быть молодым еще не значит быть юным. Можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Для одного юность – эпоха, для другого – целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не все. Юношеские грезы смешны и жалки в человеке старом. До гроба должна сохраниться юношеская энергия, беспрерывно обновляющаяся, развивающаяся, почти не имеющая способности стариться, она по преимуществу душа живая. Такова натура реальная, – сказано в «*Капризах и раздумьи*». Таков был Иван Иванович Лажечников.

Он женился на первой жене своей, будучи еще очень молодым, находясь адъютантом при генерале, не помню каком. Он увез ее из девичьей, из-за пялец, как-то через окно. Это была

женщина рассудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, как нянька ребенка, но постоянным наблюдением и замечаниями стесняла до того, что он робел перед ней, был покорен и, выкинувши какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, как напроказившее дитя. Мы нередко проводили у них целые дни, еще чаще он проводил у нас во флигеле вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали от сдерживающего взора жены он весь отдавался многосторонним интересам разговора и так свежо, сердечно хохотал, иногда безделице, что заражал своей жизненностью все его окружавшее, и самый воздух, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишком поздно засидевшись, он вдруг схватывался, как бы опомнясь от угара, улыбался улыбкой виноватого, предчувствующего наказание, и торопливо начинал собираться домой, часто говоря: «беда, как это всегда с вами заговоришься, Вадим Васильевич», и, точно теперь вижу, как он, уже закутавшись в шубу, лукаво выглядывая из-за мехового воротника, поднятого выше ушей, иногда добавлял: «вы точно светлая звездочка взошли на нашем тверском горизонте, так и тянет любоваться вами; не закатывайтесь от нас подальше»^[3].

Когда в ноябре 1834 г. супруги Пассек поселились в Харькове, они получили от Лажечникова следующее любопытное письмо, сквозь которое так и видна чистая душа Лажечникова:

«Знаю, что добрый, милый Вадим Васильевич не причтет мое молчание к забвению: сойдясь раз душой с человеком, не могу его разлюбить. К такому человеку хотелось бы писать в часы, когда грудь не отягчена заботой ежедневной прозы, мысли не сжались от формальных бумаг и приличий света, сердце просит беседы с другим сердцем. Улучая такие минуты, пишу к вам.

Читал я ваши «Записки» и сколько в них поэзии, души юной, кипящей любовью к родине и благу человечества! Много в них и свежих, зорких наблюдений, светлых идей! Видно только, что все это высыпано в беспорядке из груди, которая не могла долее носить их в себе, что это эскиз великолепного здания – части, отрывки прекрасные, но нет целого. Между тем любуешься и подмечаешь пыл творчества; оно обещает истинного художника.

Плюньте на суд Брамбеуса и его шайки, нападающей на все прекрасное, старающейся вырвать или истоптать цвет, обещающий пленять нас. Я наперед скажу: буду гордиться, если барон побранит мой «Ледяной дом». Пишите смело, но давайте вашим творениям, как говорят французы, *plus de consistance*, сплавивайте их в нечто великое, целое. Более всего – не спешите издавать. Я сам боюсь за «Ледяной дом», который, сверх того, что

пишется за деньги, – и это уж отрезывает крылья у вдохновения, – будет скороспелка. Знаю, что идея хороша, но вряд ли исполнение ей будет соответствовать.

Как жаль, что вас здесь нет!.. хотел бы беседы вашей, чистой, первородной – в ней черпал бы я новое вдохновение и силы жить *в свете...*

Люблю вас, знаю, что и вы меня любите; продолжайте меня любить по-прежнему; пишите ко мне, когда можно, обо всем, что около вас делается, о вашей природе, но более всего о себе; в вас обоих прекрасный храм ее, не оскверненный ни одним из тех позлащенных идолов, которые большой свет называет умением жить и которые мы называем пороками» («Русская старина», 1876 год, июль, стр. 540–544).

Коснувшись личного характера Лажечникова, приведем тут же, для большей рельефности, и другие имеющиеся у нас сведения относительно душевной физиономии автора «Ледяного дома». Сконцентрированные вместе, все эти сведения, относящиеся к разным годам жизни Лажечникова, в удивительно симпатичном свете рисуют нам ансамбль прекрасной личности его.

«Лажечников располагает к себе с первого взгляда своей кротостью, мягкостью, благодушием, – пишет Панаев в своих «Литературных воспоминаниях». – Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазией, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностью и не входящий с ней ни в какие сделки. Он занимал довольно значительную административную должность, но служба никогда не везет таким людям, и Лажечников вышел в отставку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того, чтобы увеличить свой пенсион, он принужден был в последнее время (1856-58 г.) принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своей обязанностью и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсионера, он тотчас же оставил цензоровство и говорил, что это счастливый день в его жизни...

Благодушие Лажечникова часто доходило до детской доверчивости, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень серьезный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

– Кому же, – прибавил юморист, – как не вам, автору

«Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит это место?..

– Да к кому же мне адресоваться? – спросил его Лажечников.

– Отправляйтесь к директору канцелярии министра Двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и все устроит вам с радостью... Ему только стоит сказать слово министру Двора...

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

– Я по наивности принял это серьезно, – говорил мне Лажечников, – и отправился к директору.

Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Мы ждали директора с полчаса... наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился, наконец, ко мне.

– Ваша фамилия? – спросил он меня.

– Лажечников.

– Вы автор «Ледяного дома»?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?

Мы вошли туда... «Милости прошу, – сказал директор, – не угодно ли вам сесть?» И сам сел к своему столу. «Что вам угодно?» – спросил он. Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня. «Кажется, я сделал величайшую глупость», – подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина. Когда я произнес это, я видел, что лицо его превосходительства подернулось иронией; я пришел от этого еще в большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...

– Как... я не дослышал... Что такое? Какое место? – произнес директор, устремляя на меня резкий взгляд. Я, проклиная внутренне свою доверчивость, повторил глухо:

– Место директора московских театров.

Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я не дал в эту минуту, только бы не видеть этой улыбки.

– Какое же вы имеете право претендовать на это место? Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторой литературной известностью, могу надеяться... Но директор прервал меня с явной досадой...

– Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место

вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаевич был лично известен Государю Императору, – вот почему он был директором. На таком месте самое важное – это *счетная часть*, тут литература совсем не нужна, она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счетчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...

Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.

– Ничего, ничего, – проговорил он, – я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...

Я не знаю, как я вышел от директора...

– Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной, – сказал я моему знакомому, посовествовавшему мне отправиться к директору, и передал ему, какой прием был сделан мне.

– Скажите! – отвечал он добродушно, – а я ведь, право, думал, что он, как литератор, примет вас, нашего первого романиста, с распростертыми объятиями и готов будет все сделать для вас. Вот как иногда ошибаешься в людях! Ну, кто бы мог это предвидеть? Ах, как жаль, как жаль! Да я и представить себе не могу, кого же они назначат на это место? Я все-таки убежден, что оно, по всем правилам, принадлежит вам.

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посовествовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя: сам подсмеивался над своей доверчивостью и наивностью...

«Немногие даже из замечательных людей, – резюмирует Панаев, – сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости. На таких старичков, благословляющих, а не клянущих новые поколения, смотреть легко и отрадно. Они одушевляют юность на подвиги и вселяют в нее ту веру, без которой мертвы дела».

Чтобы оценить значение отзыва Панаева, нужно вспомнить, что он писан при жизни Лажечникова. По какому-то непонятному логическому капризу у нас принято сколько угодно ругать живого человека, нисколько не щадя личных качеств его, но хвалить живого человека за хорошие стороны характера – не принято: конфузимся. Вот почему лестный отзыв Панаева и знаменателен чрезвычайно.

Не менее лестен отзыв о личных качествах Лажечникова,

который находим в речи А. Н. Островского, сказанной им на пятидесятилетнем юбилее литературной деятельности нашего писателя:

«Я позволю себе упомянуть об отношениях Ивана Ивановича к русской жизни и к литераторам, вступавшим на литературное поприще спустя много лет после него, об отношениях, которые могут быть не совсем известны читающей публике. Он всегда шел за веком, радовался всякому движению вперед на пути цивилизации и до глубокой старости юношески сочувствовал всем благим реформам. В отношении к литературе и литераторам он один, из весьма немногих, не старел душой: он не ставил начинающим талантам в вину их молодость, никогда высокомерной, покровительственной речью не оскорбил он начинающего писателя. В продолжении 50-ти лет все художественные деятели были ему современники и товарищи. С первых слов, с первым пожатием руки, он становился с молодым талантом, который мог бы ему быть сыном или внуком, в отношения самые простые и дружественные, в такие отношения, как будто они оба начали писать в одно время. Этой черты нам, молодым относительно его литераторам, забыть невозможно. Мальчишек в искусстве для него не было. Оттого и юбилейный праздник Ивана Ивановича богат теплым чувством и простым, истинно родственным приветом, а не той холодной, натянутой почтительностью, которой отличаются другие юбилейные торжества».

Итак, вот сколько свидетельств! Белинский, который всегда «любил и уважал» Лажечникова, Полевой (с Полевым, как видно из статьи «Как я знал Магницкого», Лажечников познакомился в 1829 г.; следовательно, известный нам отзыв о «Последнем Новике» с намеками на характер автора – есть результат прямого знакомства с прекрасной личностью Лажечникова), Панаев, Татьяна Пассек, Островский. К этому можно присоединить крайне симпатичные отзывы, которые нам устно приходилось слышать от некоторых литераторов, знавших Лажечникова в последние годы его жизни. Взгляните, наконец, сами, читатель, на приложенный к настоящему очерку портрет, и несомненно, что, даже не обладая талантами Лафатера, вы в этом симпатичном и добром лице увидите отражение души прекрасной и чуткой ко всему хорошему и благородному.

Но и помимо разных свидетельств и физиономистики – есть ли хоть один писатель, произведения которого не были бы тесно переплетены с личностью его и не служили бы выражением душевных качеств его. Не служат ли нам поэтому лучшим и рельефнейшим свидетельством о свойствах души Лажечникова

его романы, драмы и воспоминания, где столько наивной, но тем не менее столько чистой веры в добро, столько отвращения к лести, пресмыкательству и чванству. Всего любопытнее и характеристичнее те места многочисленных воспоминаний Лажечникова, где он пробует сердиться. Бурлит, бурлит добродушный старичок, ворчит и даже иной раз бранится. И хоть бы единая капля действительной злости во всем этом!

В Твери, как мы уже знаем, Лажечников написал второе крупное произведение свое – «Ледяной дом», прямо вышедшее отдельным изданием в 1835 году. «Ледяной дом», несомненно, лучшее произведение Лажечникова. Выражаясь по-старинному, это наиболее яркий алмаз в поэтической короне нашего романиста, блеск которого не потускнел и до нашего времени. Время только в том отношении повлияло на него, что блеск этот виден не со всякой точки зрения: нужно подойти известным образом.

Прежде всего нужно отбросить научно-историческую точку зрения, т. е. не нужно искать в «Ледяном доме» строгого, буквального соответствия с действительными историческими событиями. Новейшая ученая критика доказала, что главный герой романа – Волынский в действительности был весьма невовышенный честолюбец, наделенный всеми грубыми недостатками своего времени, запятнавший себя не одной мерзостью. Манштейн в своих записках говорит о Волынском, как о человеке хотя и умном, но тщеславном, напыщенном, сварливом, а где нужно – льстивом. Из следственного дела Волынского видно, что он и взятки брал превосходно, и вымогательства всевозможные позволял себе, и людей до смерти заколачивал. Во время своего губернаторства в Казани и потом, ставши министром, Волынский, под видом займа, вымогал у разных лиц огромнейшие суммы. Полицейского служителя за то, что, проходя мимо его дома, он не снял шапки, Волынский велел отодрать кошками. Одного из конюхов своих, за какую-то провинность, заставил в продолжение нескольких часов ходить по деревянным спицам вокруг столба; мичмана кн. Мещерского Волынский посадил на деревянную кобылу, предварительно вымазав ему лицо сажей, и затем привязал к его ногам гири и живых собак. Словом, личность не особенно красивая и, во всяком случае, нисколько не выдававшаяся душевными качествами среди современников, как это выходит по «Ледяному дому». Вся его «патриотическая» оппозиция была, в сущности, подкопом под Остермана и желанием сесть на его место. Бирона он вовсе и не задевал, а когда Остерман, для своей безопасности, восстановил герцога против Волынского, последний тотчас же поскакал умиловить гнев Бирона, но не был принят им.

Вот что выяснено новейшей историографией, обнаружением следственного дела Волынского, статьями Иакинфа Шишкина, Афанасьева и др. Но и Пушкин еще, со

свойственной ему гениальной прозорливостью, основываясь на факте избиения Волынским Тредьяковского, чувствовал, что Лажечников идеализировал своего героя. «Истина историческая не соблюдена в «Ледяном доме», – писал он Лажечникову, – и это со временем, конечно, повредит вашему созданию». Кроме Волынского в неверном свете выставлен Тредьяковский, по отношению к которому Лажечников поступил как раз наоборот: одной только черной краской пользовался. В такой же степени, в какой Волынский – излюбленное дитя фантазии автора, Тредьяковский – пасынок ее.

Несправедливое отношение Лажечникова к Тредьяковскому было подчеркнуто и современной появлению «Ледяного дома» критикой, а всего сильнее Пушкиным, который в цитированном уже письме к Лажечникову (помещено в статье «Как я познакомился с Пушкиным») горячо взял под свою защиту бедного автора «Телемахида» от незаслуженного глумления над ним Лажечникова и искажения его действительного характера.

Да, все это несомненно. Хотя также несомненно, однако же, что весьма многое уловлено Лажечниковым вполне верно. Те главы, где не действуют Волынский и Тредьяковский, верны и с точки зрения ученой критики. Характер Анны, шуты, «язык», ледяной дом, все это обрисовано ярко, типично, выразительно не только с художественной точки зрения, но и с строго исторической. Заслуживает большого внимания та простота, с которой Лажечников отнесся к Анне. Булгарин, Греч и другие представители внешнепатриотического лагеря не позволили бы себе такой простоты, почли бы ее дерзостью.

Но предположим даже полную историческую неверность «Ледяного дома», – потеряет ли он от этого свое значение? Едва ли. Прежде чем быть *историческим* романом, «Ледяной дом» есть просто роман, т. е. художественное произведение, посвященное анализу и характеристике человеческих страстей. А «в произведении искусства», скажем мы словами Белинского, «должно искать соблюдения художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллер из Карлоса, непокорного сына и дурного человека, сделал идеал возвышенного, благородного человека? Что нам за нужда, что Гете из восьмидесятилетнего старика Эгмонта, отца многочисленного семейства, сделал молодого, кипящего избытком жизни юношу? Он хотел изобразить не Эгмонта, а кипящего избытком духовных сил юношу в положении Эгмонта. История услужила ему только «поэтическим» положением, а главное дело в том, что его драма – великое произведение великого художника. Кто хочет знать историю, тот учись ее не по романам и драмам».

И вот, если отнестись к «Ледяному дому» просто как к роману, он становится явлением заметным, а если еще принять во внимание время его появления, то и очень заметным. Но, конечно, для того, чтобы уяснить себе это значение, нужно подойти исключительно с психологической точки зрения. Нужно забыть, что Волынский – пожилой царедворец начала нынешнего столетия, да еще представитель старых «русских» идеалов, который на любовные отношения к молодой девушке мог смотреть исключительно как на распутство; нужно забыть, что Мариорица воспитанница гарема, в которой едва ли может развиваться любовь на европейский образец. Да, нужно отвлечь фигуры Волынского и Мариорицы от современной им эпохи, и вы тогда получите глубоко правдивую и трогательную повесть о любви двух сердец, которым условия жизни не дают насладиться всей полнотой заслуженного ими счастья. В этом отношении «Ледяной дом», может быть, первая в русской литературе проповедь *свободы чувства*. Правда, сам же Лажечников несколько морализирует по адресу Волынского и слегка подчеркивает «незаконность» любви от живой жены, но именно только несколько и только слегка, как ворчит всякий добродушный человек, которому и душевно жаль видеть ваши терзания, но которому все-таки зазорно потворствовать «греху». Непосредственно после ворчания, пожуривши Волынского, Лажечников пламенно распространяется о неотразимости любви, о том, что она всецело охватывает человека, туманит мозг и сердце и т. д. Мариорицу же он во все продолжение романа оттаивает грудью. Даже узнавши про то, что Волынский женат, она, с полного, так сказать, благословения автора, продолжает его любить и пишет ему письмо, полное такого пренебрежения ко всем установленным регламентациям чувства, что с первого раза удивительно, как современные блюстители благонравия не растерзали за него Лажечникова. Но это объясняется очень просто. Не обративши внимания на те места письма, где Мариорица с логикой здравого и искреннего чувства говорит, что известие о женитьбе Волынского пришло слишком поздно, что она не может же переменить себя, не может покинуть любви своей, потому что «она сильнее ее», – критика того времени все сводила к фатализму, который, действительно, играет большую роль в истории любви Мариорицы к Волынскому. Действительно, желая придать любви Мариорицы то, что называется *couleur locale*, Лажечников сначала заставляет старого пашу, воспитывавшего Мариорицу, говорить ей в шутку, что он отдаст ее в подарок русскому послу Волынскому, затем этот же Волынский попадаетеся Мариорице на первых же порах ее

пребывания в Петербурге и, наконец, на святочном гадании дело опять устраивается так, что на вопрос о суженом Мариорицы получается в ответ – «Артемий» – имя Волынского, так что формально прав был Белинский, когда, наравне с другими критиками того времени, резюмировал весь ход событий, приведших Мариорицу к тому, чтобы влюбиться в Волынского, словами: «фатализм чудесит». Вслед за тем Белинский задает себе вопрос, как же любила Мариорица Волынского, и отвечает: «она любила его как восточная женщина». В доказательство он приводит отрывок из письма Мариорицы к Волынскому: «Я вся твоя! Имей сто жен, сто любовниц – я твоя, ближе, чем кора при дереве, растение при земле. Делай из меня, что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моем». Но стоит, однако же, внимательнее отнестись к окончанию письма, и мы увидим, что Белинский был не прав, что Мариорица любила не как восточная женщина, а как европейская, и именно того фазиса европейской мысли, когда было создано, что только сама же любовь может устанавливать для себя законы. «Говори мне, что хочешь, против себя, – пишет Волынскому Мариорица, – пускай целый мир видит в тебе дурное: я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя – прекрасного, возвышенного, обожаемого мной! Ты виноват передо мной?.. Никогда! Ты преступник из любви же ко мне: могу ль тебя наказывать? *Скажи мне только, милый, бесценный друг, что ты не любишь жены*; повтори мне это несколько раз: мне будет легче». В этих немногих словах целая теория любви, идущая совершенно в разрезе с установленными шаблонами и не имеющая даже отдаленного сходства с примитивными восточными понятиями о любви. «Целый мир» ничто для решения сердца – оно само для себя единственный судья и законодатель. Неужели же тут хоть крупица восточного? Разве не этот принцип сделал всемирно известным имя Жоржа Занда? «Скажи мне только, что ты не любишь жены» – разве эти слова не дают фразе «имей сто жен, сто любовниц-я твоя» освещение диаметрально противоположное тому, какое мы находим у Белинского? Не значит ли оно вот что: будь ты связан каким угодно *формальностями*, но раз ты *не любишь* тех, или, вернее, *ту* (потому что «сто жен, сто любовниц» есть, конечно, только *façon de parler*), с которыми судьба тебя связала, ты волен полюбить другую, ты волен располагать сердцем своим по собственному усмотрению.

Что это наше толкование правильнее объяснения образа действий Мариорицы восточным фатализмом и восточными

понятиями о любви, можно, как нам кажется, безусловно решаяще доказать *общим характером всех излюбленных женских фигур Лажечникова*. Основная черта лучших женских характеров Лажечникова та, что, пренебрегая мнениями и правилами «целого мира», они поступают так, как им диктует сердце. Уже в юношеской повести Лажечникова «Спасская лужайка» Агата вместе с Леонсом находит, что природа дала им «святые права», столь важные, как и «законы света». Роза из «Новика» – это апогей пренебрежения шаблонами, а коленопреклонение перед нею Лажечникова показывает, как глубоко было развито в нем сознание того, что в деле чувства все прощительно, что искренно и цельно. Наконец, Анастасия из «Басурмана» опять представляет собой протест против пут и преград, которые людская тупость и ограниченность ставят на каждом шагу всякому чувству, родившемуся без принорования к установленным нормам. Да и, наконец, в истории любви Мариорицы можно ли себе представить более резкое пренебрежение всеми шаблонными схемами любви, чем «Ночное свидание» в Ледяном доме. Целых двадцать пять лет спустя, Тургенев поднял против себя бурю негодования всех матушек и тетушек той главой из «Накануне», где Елена приходит к Инсарову и говорит ему: «возьми меня». Сколько же моральной инициативы нужно было Лажечникову, чтобы дойти до такой смелости. В этом отношении Лажечников настолько перерос своих современников, что огромное большинство их даже не поняло всей новизны и значения «Ночного свидания». По крайней мере, ни в одной из рецензий мы не нашли обсуждения ее. Даже враждебно отнесшийся к «Ледяному дому» «Сын Отечества» Греча, выискавший множество прегрешений Лажечникова, ни одним словом не упомянул о «Ночном свидании». А несомненно, пойми благонравный Греч значение этой главы, он бы, конечно, не преминул разразиться громом и молнией.

Один только Белинский, со свойственной ему чуткостью, понял жгучую поэзию высшего момента любви Мариорицы и охарактеризовал его следующими прекрасными словами: «Мариорица сходит со сцены, как вошла на нее: как звезда любви, которая ярче и прекраснее всех небесных светил и вечером, когда является, и утром, когда скрывается. Последнее ее свидание с Волынским было апофеозом всей ее жизни, и мы решительно отрицаем всякое человеческое, не только эстетическое, чувство в том, кто бы, увлеченный сухим, как арифметика, морализмом, увидел в последнем мгновении ее жизни падение, а не просветление, не торжественное просветление, не торжественное свершение подвига жизни...».

Мариорица представляет собой кульминационный пункт

романа. Поэтическая прелесть ее не потеряла своего обаяния и на современного читателя и яснее, всего показывает, на что был способен талант Лажечникова в тех случаях, когда творчество его не было сковано узкими шаблонами официальных доктрин.

Сопоставьте в самом деле полет духа нашего писателя, когда он, следуя указаниям истинного чувства, создавал фигуру Мариорицы и тогда, когда он, довольствуясь рамками ходячего в то время понятия о «патриотизме», рисовал «патриотическую» деятельность Волынского и его друзей из «русской партии». Основной догмат казенного патриотизма состоял в том, чтобы обелять все свое и унижать все чужое. И вот, в угоду этому суздальскому методу, во всем романе, за исключением Эйхлера, нет ни одного хорошего немца. Эйхлер, впрочем, не представляет собой исключения, потому что примыкает к русской партии. Русские же лица романа, за исключением Подачкиных, все прекрасны, чисты и не имеют ни одного пятнышка на себе. Перокин, Сумин-Купшин, Щурхов, Зуда – все это воплощения и сосуды всевозможных добродетелей. В своем «патриотическом» рвении Лажечников доходит до того, что даже шута русского – Балакирева и то берет под свое покровительство и дает ему нравственное первенство перед Педрилло и другими иностранными шутами. А уже, казалось бы, занятие шута нравственно уравнивает и иностранца и туземца.

В разбор самого «патриотизма» Волынского нам нет надобности вдаваться, ибо это все тот же самый старый знакомец, достаточно нажужжавший нам в уши про свои два главных принципа: «славу» и покорность. Но автор сам так пламенно уверен в том, что патриотизм этого сорта и есть настоящий, что опять-таки, как и при чтении «Последнего Новика», вы можете только не соглашаться, но не сердиться и негодовать; и опять-таки приходится припомнить наши, две отправные точки: патриотизм, составляющий один из центральных пунктов почти всех произведений Лажечникова, по своим принципам тот же, как и у других представителей внешнепатриотической школы, но Лажечников вкладывает в него столько искренности и глубокого убеждения, что вам становится понятным, почему ложный путь, избранный им, не завел его, однако, в те дебри, в которые зашел какой-нибудь Греч и Булгарин, почему вам противно читать разные измышления патриотов одного с Лажечниковым направления, а самого Лажечникова – ничуть.

«Ледяной дом» имел громаднейший успех, превзошедший успех «Последнего Новика» и окончательно укрепивший литературное положение Лажечникова.

«Вот, наконец, этот долго и с нетерпением ожидаемый роман

г. Лажечникова, – писала «Северная пчела», всегда шедшая в хвосте общественного мнения, за исключением тех случаев, когда у Булгарина являлся специальный интерес разойтись с ним. Да, с нетерпением: оно началось с той самой минуты, когда публика прочла первое объявление о «Бироновских праздниках», и усилилось при вторичном извещении об этом романе и перемене его заглавия в «Ледяной дом». Нетерпение наше удовлетворено: новая, свежая книга у нас в руках. Все с жадностью бросились на новость. Беда, если автор «Последнего Новика» не удовлетворит новым своим произведением долгому ожиданию, если второй роман ниже первого. Мы только что кончили чтение «Ледяного дома» и пишем эти строки, еще наслаждаясь прочитанным: это лучшее время для выражения всего пристрастия, внушенного нам книгой, по крайней мере, для фельетонной рецензии, если не для подробной и строгой критики, которой это произведение вполне достойно, потому что выйдет из нее в новом блеске, с победой и славой.

Кончив книгу, пройдя эту занимательную эпоху борьбы аристократической, блестящей всем разнообразием характеров и изображенной с поразительной истиной действительности, вы еще долго чувствуете сладостное впечатление, оставленное в вас романом.

«Ледяной дом», – заканчивает рецензент, г. Н.Д., – доставил нам много приятных часов, и мы уверены, что всякий русский прочтет его с таким же наслаждением. Господа! Приезжайте с дач – (Но «Пчелы» от 24 августа) – хоть для этого романа: «Ледяной дом» вас разогреет» («Сев. пчела», 1835 г., № 190).

«Еще не успели мы забыть удовольствия, которым насладились при чтении «Ледяного дома», вышедшего в 1835 году, – пишет Белинский в «Московском наблюдателе» 1839 года, – как взялись, кажется, за третье, если не за четвертое чтение этого романа по случаю второго его издания в конце прошлого (1838) года и прочли его еще с большим удовольствием, нежели в первый раз: лица, которые начали уже от времени представляться нашим глазам под какими-то туманными дымками, снова ожили перед нами и мы радушно и весело встретились со старыми знакомцами и нашли их так же интересными, милыми и любезными, как и в пору первого знакомства; прекрасные ощущения, которые от времени уже начинали терять свою предметность и повторялись в душе нашей, напевы какой-то забытой, но прекрасной песни вновь воскресли в ней, живые, свежие, могучие, и снова взволновали ее своими очаровательными потрясениями...»

В некоторых главах Белинский видел «львиное могущество».

«Библиотека для чтения» дала чрезвычайно странный отзыв, своим ехидством несколько похожий на речь Антония в «Юлии Цезаре»: «Ледяной дом» такая книга, о которой совершенно нечего сказать, кроме того, что она прелестна. Надобно ограничиться одним словом – прелестна! И даже невозможно с точностью определить смысл, в каком вы принимаете это слово. Разбор его уничтожил бы приятность общего впечатления, которому оно служит верным выражением. Это не *chef d'oeuvre*, не верх искусства, не произведение мысли сильной и глубокой; сверх того, это роман исторический, род реставрации старых картин, где художник только обновляет поблекшие краски и дополняет места, истертые временем, одним словом – это простой рассказ приятного рассказчика: рассуждения его поверхностны и обыкновенны; тон и прием их не самый изящный; остроты не блистательны; веселость не всегда ловкая; игривость немножко школьническая; но эта книга прелестная, – чрезвычайно милая и занимательная, которая с самого начала увлекает вас своим интересом и быстро мчит по мелким столбцам своим и некрасивой печати до последней странички, не давая вам отдохнуть, ни подумать, в чем состоят недостатки, что такое поражает вас иногда неприятно. Только прочитавши и воскликнув – прелесть! – вы можете приметить, что из этого чтения не осталось в вас ни одной идеи, даже ни одного счастливого выражения для ваших всегдашних мыслей. Два раза невозможно читать этого романа, но если бы мы сегодня забыли его содержание, в первый досужный час опять принялись бы за него же, с уверенностью найдя полное удовольствие» («Библиотека для чтения», 1835 г., т. 12).

Происхождение этой ехидной рецензии можно легко себе объяснить, если предположить, что ее автор – Сенковский. А судя по тяжеловесному остроумничанью, она именно ему принадлежит. Сенковский был из породы тех надутых людей, которые считают ниже своего достоинства чем-нибудь сильно восторгаться, и потому, ежели даже хвалят что-либо, то все-таки с высоты своего величия и так, чтобы унизительно вышло для того, кого они хвалят.

В заключение приведем ругательную рецензию гречевского «Сына Отечества», которая, однако же, именно своей бранью свидетельствует о том, что «Ледяной дом» имел сильный успех.

«Роман этот – страшнее романов Евгения Сю, замысловатее (!) романов Бальзака, и разве только с романами Сулье можно сравнить его. Чего вы хотите? *Страстей*? Каких же вам страстей сильнее страстей Вольтского, Мариорицы, цыганки – матери ее, Бирона? *Происшествий*: Чего вам еще, начиная с «Ледяной статуи»

до последней сцены в «Ледяном доме» и с погребения замороженного малороссиянина до пытки Волынского! А *характеры*? Этот Волынский, который на шестом десятке лет шалит, как юноша; этот Бирон, который только что не ест людей; этот Тредьяковский, и заметьте, что все это лица *исторические*. Вы скажете, что они такими *никогда не бывали*, что сочинитель жертвовал желанию блистать эффектами истиной событий и правдой сердца человеческого – но кто же поверит вам? Не расхвалили ли все журналы «Ледяной дом»? Не достиг ли он теперь второго издания, а это не доказывает ли, что он понравился очень многим» («Сын Отечества», 1838 г., т. 5).

Объяснение этой злобной рецензии Греча, автора многих повестей, имевших не более как средний успех, мы находим у Белинского. Отзыв его о «Ледяном доме» начинается с того, что он не станет относиться к Лажечникову так, как относятся к последнему некоторые рецензенты; от этого «г. Лажечникова защищает его огромная известность и громкий авторитет у публики, а еще более одно, по-видимому маленькое, но в самом-то деле очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не пишем романов, и г. Лажечников не перебивает у нас дороги. Вот если бы мы вздумали написать или (все равно) дописать какой-нибудь роман, что-нибудь вроде Евгения Сю, примиренного с Августом Лафонтеном, о, тогда плохо бы пришлось от нас господину Лажечникову; мы умели бы отделать его в коротенькой «библиографической статейке».

Следовательно, и крайне враждебный отзыв «Сына Отечества» свидетельствует о сильном успехе «Ледяного дома». Что, в самом деле, доказательнее говорит о чем-нибудь успехе, как не зависть!

Вышедши в отставку в 1837 году, Лажечников поселился в деревне под Старицей, на берегу Волги. Здесь им написан «Басурман», появившийся в 1838 году.

В ряду трех романов, доставивших Лажечникову громкую известность, «Басурман» считается менее удачным, чем «Последний Новик» и «Ледяной дом». Публикой «Басурман» тоже был принят несколько холоднее других романов Лажечникова. Правда, до выхода в 1858 году полного собрания было раскуплено два издания «Басурмана», что для русской книжной торговли, да еще того времени, немало, но для двух других романов Лажечникова за это же время потребовалось три издания.

Тем не менее мы не можем согласиться с тем, чтобы в общем «Басурман» был действительно ниже «Новика» и «Ледяного дома», хотя этого мнения держится Белинский. В частности, в «Басурмане» действительно есть большие недостатки, но есть зато в нем и такие сильные стороны, что ансамбль получается весьма удачный. И если еще можно согласиться с тем, что «Басурман» хуже «Ледяного дома», с его прекрасным образом Мариорицы, то «Последнему Новику») он не уступает ни в каком случае.

Основной недостаток «Басурмана» такой же, как и в «Новике»: главный герой его, лекарь Антон, – фигура крайне бесцветная, образ без лица, на котором, однако, вертится вся интрига романа. В обрисовке его нет решительно ничего типичного, почти ни одной черты, которая бы говорила нам о XV веке. Антон воспитывался в Италии, в самом начале эпохи Возрождения, когда смешение замирающих средних веков с воскресающим духом античной свободы и античной широты взгляда создавало такой дикий разгул страстей, хороших и дурных, когда выступали на сцену Савонаролы и Борджии. И хоть бы капельку этой страстности дал автор своему герою. Антон представляет собой полный образец сентиментального немецкого юноши начала нынешнего столетия, скромного, целомудренного, безмятежного, не знающего пороков даже по названию. Лажечников создавал его совершенно схематически, по тому рецепту, по которому создавались «идеальные» юноши в немецких сентиментальных романах; а то, может быть, он даже списан с какого-нибудь живого немецкого аптекарского ученика, которому «злой свет» мешал соединиться узами добродетельнейшей любви с какой-нибудь голубоокой и светловолосой Лотхен – дочерью самого содержателя аптеки.

Схематичны и некоторые другие лица романа. Доктор Фиоравенти – образец оперного героя, всю жизнь помнящего обиду и «дьявольски» мстящего за нее. Русалка и Мамон – такие же образцы оперных злодеев, черных, без единого белого пятнышка.

Если к ним присоединить еще сына Аристотеля Фиоравенти – Андрюшу, лицо совершенно неудачное и сочиненное, то все главные недостатки «Басурмана» будут перечислены. В рисовке же остальных действующих лиц романа Лажечников проявил много художественного чутья, а главное, проявил столько *реализма и жизненной правды*, что, принимая во внимание время его появления, «Басурман» становится явлением в высшей степени замечательным.

Приглядитесь, в самом деле, с какой удивительной для тридцатых годов художественной смелостью обрисован Иоанн III. В обрисовке этой Лажечников почти исключительно руководствовался своим художественным инстинктом, потому что ни современная ему историография, ни современные ему исторические романисты, драматурги и поэты не позволили бы себе так просто и естественно отнестись к личности великого объединителя Руси. Карамзинская история и остальная историография того времени, большей частью примыкавшая к народившемуся тогда славянофильству, на старину смотрела исключительно сквозь призму самого розового оптимизма. Старая жизнь рисовалась тогдашнему воображению непременно в величавых очертаниях; казалось святотатством представлять себе предков наших людьми, обуреваемыми такими же страстями и наделенными такими же грехами и грешками, как и хилые дети девятнадцатого века. А уж что говорить о таких выдающихся лицах, как Иоанн III. О них вменялось в обязанность говорить только молитвенными словами и коленопреклоненно. Величайший художник того времени – Пушкин в своем «Борисе Годунове» не позволил себе наделить своих героев ни одной вульгарной чертой; за исключением Варлаама, язык всех действующих лиц величав, как величавы и поступки их, все равно, будь эти поступки хороши или дурны. Ни у одного из героев пушкинской великой драмы нет той мелкой суетливости, которая характеризует живых людей, нет той житейской пошлости, которая в известной дозе присуща в действительности даже величайшим героям. Но тот же самый Пушкин в «Арапе Петра Великого», по крайней мере, в три раза реальнее отнесся к эпохе и людям, а в «Капитанской дочке» уже прямо рисовал живых людей, без всяких попыток идеализировать и ставить на ходули. Выходило, значит, так, что чем отдаленнее от нас эпоха, тем

величавее и торжественнее нужно ее изображать. Другой великий гений тридцатых годов – Лермонтов в своей «Песне о купце Калашникове» окутал древнюю русскую жизнь поэтическим туманом, сквозь который действительные очертания ее почти не видны. Эпическое величие Кирибеевича и всей остальной обстановки, несомненно, вполне соответствует тому величию, которым народный эпос наделяет своих героев, – в усвоении этого народного эпического колорита и заключается, в сущности, художественное значение «Песни», но несомненно, однако же, и то, что вот уже которое поколение по «Песне о купце Калашникове» рисует себе древнюю Русь такой, на какую она в действительности весьма мало похожа была, несомненно и то, что и сам Лермонтов признавал за своей «Песнью» историческую верность.

Мы взяли двух величайших представителей всей русской литературы, а тем паче того времени, когда выходил «Басурман». Что же сказать о других тогдашних писателях, трогавших русскую историю? Все это без исключения была грубая и приторная идеализация, паточное умиление и лубочная рисовка наших предков трехсаженными «богатырями». Гоголь с его «Бульбой», при всем гениальном реализме этой превосходнейшей повести, не опровергает нашего утверждения, потому что в одном намерении выставить запорожцев, по крайней мере наполовину состоявших из простых разбойников, обыкновенными людьми уже заключается сильнейшая идеализация. И затем все-таки Бульба и его товарищи – люди простые, а не цари и бояре. Их все-таки смелее можно было заставить говорить и действовать в обыкновенном «штите».

Не станем утверждать, что Лажечников, рисуя Иоанна, совсем освободился от условности своего времени, что его Иоанн действительно выведен со всей той реальностью, с какой только можно его вывести. Несомненно, что и у Лажечникова он местами действует и говорит так высокопарно и ходульно, как действительный Иоанн не мог говорить и действовать. Но общий метод, с которым наш романист приступил к обрисовке объединителя Руси, все-таки в высшей степени замечателен своей простотой и реальностью.

Вместо того чтобы указывать или приводить в доказательство места романа, которые нам нравятся своим стремлением к реализму, приведем лучше выдержки из яростной рецензии, которой разразился по поводу «Басурмана» наиболее бдительный страж общественного и литературного благонравия в то время – Фаддей Булгарин. Эта рецензия тем пригоднее для нашей цели, что все-таки далеко не всякий читатель в состоянии проникнуться

духом исторической критики, чтобы отделить суть от одежды времени, и очень может быть, что, приступивши к «Басурману» с меркой современного высокого развития реализма, он в Иоанне увидит только идеализацию и ходульность. Но вот послушаем свидетельство современника, пришедшего в ужас от той дерзости, с какой Лажечников занес святотатственную руку на величие древней Руси и великого государя.

«Г. Лажечников изобразил не тогдашнюю Русь, а какую-то дикую орду. Автор «Басурмана» думал, что, изобразив дикость и невежество, свирепость и бесчеловечье, подлость и гнусную интригу, он изображает тогдашнее время».

Но больше всего, понятно, ожесточило Булгарина изображение Иоанна:

«Иоанн III изображен каким-то неистовым, который от каждого слова приходит в бешенство, хватает за горло своих вельмож, ругает их последними словами, велит их бить, ловить по городу, запирает в темницы, хочет воевать, а сам трусит, боится войны, действует одной изменой, посредством низких своих придворных. Срам и стыд! Это великий Иоанн!» («Сев. пчела», 1839 г., № 47).

Чтобы усилить эффект своей критики и совсем поразить дерзкого романиста, Булгарин прибегнул к приему, небезызвестному и в наше время:

«Законодатель, зиждитель Москвы, *основатель самодержавия на Руси*, не мог быть эгоистом» (№ 98).

Видите ли, на что пошло: в художественном приеме найдена политическая неблагонадежность: «Мы не постигаем, – говорит затем Катков тридцатых годов, – с какой стати автор романа пустился в исторические рассуждения, в спор с господином Полевым, чтобы доказать, что Иоанн III трус!»

Больше всего возмущен Булгарин тем превосходным по реализму местом романа, в котором Иоанн, как истый сын грубого, хвастливого и мстительного века своего, как истый сын эпохи, еще полной татарского духа и варварства, показывает Антону смрадную тюрьму, где содержатся его пленники – татарские цари и Марфа Борецкая. «Чуланы, где содержались пленники, – цитирует Булгарин Лажечникова, – походили на нечистые клетки».

«*Этих нечистых клеток*, – прибавляет он вслед за тем от себя, – мы не показываем нашим читателям. Брррр! бррррр!»

До самой глубины души возмущается также Булгарин ответом Борецкой: «Спроси об этом, *собачий сын*, у моего детища». Вообще вся сцена между Иоанном и Борецкой «не натуральная и отвратительная; не таков был Иоанн, не такова была и Борецкая!»

Они не хвастали и не болтали по-пустому, а делали свое дело героически».

Таково мнение Булгарина. Но на самом деле как правдива эта сцена, как смело обрисованы здесь Иоанн и Марфа. Чего стоит одна фраза «собачий сын», вложенная в уста той самой Марфы Посадницы, которая в тридцатых годах говорила почти исключительно александрийскими стихами? Одной этой фразой Лажечников показал, как просто и вместе с тем вполне *правдиво* он отнесся к изображенной им эпохе. Читайте, в самом деле, полемические сочинения духовных лиц не только XV, но и конца XVII века и, Боже мой, сколько там отборнейших ругательств при обсуждении самых божественных и высоких сюжетов. Но Лажечникову, тем не менее, нужна была громадная смелость, чтобы ввести в исторический роман такое вульгарное ругательство. Лучше всего об этой смелости можно судить по тому, что в полном собрании, вышедшем целых двадцать лет спустя, «собачьего сына» нет. Сам Лажечников, значит, поразмысливши, испугался своей смелости, внушенной ему, так согласно с исторической действительностью, инстинктом правды, присущей всякому истинному таланту.

Рецензия Булгарина, как мы уже сказали, избавляет нас от необходимости доказывать, сколько новизны и смелости проявил Лажечников в своем романе. Есть отзывы и мнения, предназначенные для «позора и поношения» того или другого лица, но которые на самом деле служат лучшей похвалой. Булгаринская рецензия принадлежит к ним. Это уверение, что Иоанн не мог хвастать, не мог драться собственноручно, не мог трусить и делать мерзостей, наконец, это прелестное «брррр! брррр!» – представляют собой лучшую аттестацию той оригинальности художественных приемов, с которой Лажечников приступил к «Басурману».

Из других действующих лиц романа нельзя не остановиться с похвалой на Аристотеле Фиоравенти. Правда, он нарисован по тому шаблону, по которому в тридцатых годах рисовали гениальных артистов. Но все-таки в его положении много истинного трагизма. Замысел нарисовать человека, страстно преданного идеалу, стремящегося к небу, но, благодаря тупоумию окружающей обстановки, обязанного весь век копошиться в грязи и чувствовать, что без компромиса с этой грязью не достигнешь осуществления и той ничтожнейшей части своего идеала, которое возможно в действительности, – замысел этот показывает, что в самом Лажечникове было живое сознание истинно возвышенного, истинно человеческого.

Героиня романа – Анастасия имела несчастье понравиться

Булгарину. Это единственное, что ему во всем романе понравилось.

«Но зато любовь Анастасии изображена прекрасно. Это точно русская девушка времен татарского ига (?). Мы не только не желаем лишить автора его достоинства, но рады бы прибавить ему всякого добра, а потому с удовольствием сознаемся, что любовь Анастасии и вообще русской девицы XVI и XVII века начертана превосходно и заставляет сожалеть о том только, что русская девица и русская любовь описаны басурманским языком».

На этот раз мы отчасти должны согласиться с Булгариным. Любовь Анастасии, конечно, отбросивши некоторую ходульность, без которой что же в тридцатых годах и обходилось, а взяв психологическую сущность ее, обрисована очень удачно. Анастасия если и не совсем русская девушка «времен татарского ига», то, во всяком случае, жизненно правдивый образ девушки вообще. Не спрашивает ни у кого сердце девушки, кого полюбить, и бессильны все предрассудки там, где заговорило чувство.

Не станем останавливаться на второстепенных лицах. Некоторые из них удачны, как, например, Бартоломей, деспот Морейский, Хабар-Симский и другие. Есть и неудачные: жид Схария, например. Но мы не войдем в такой детальный анализ. Наша задача состояла в том, чтобы выяснить общий дух романа, художественный метод его. Нам хотелось подчеркнуть крайне замечательный для тридцатых годов реализм «Басурмана», делающий его выдающимся явлением литературы того времени.

Этот реализм в значительной степени ослабил черту, которая так не по нутру современному читателю в романах Лажечникова, – казенный патриотизм его. Правда, немало его и в «Басурмане». Ортодоксальный взгляд, например, на жидовскую ересь в достаточной степени узок. Но зато какое широкое представление о «славе» в обрисовке Иоанна. Нет уже той малодушной боязни сказать слово осуждения, «патриотизм» не заключается в употреблении исключительно светлых красок, «преданность» не состоит из одной сервильности.

«Басурман» вызвал большое оживление в критике. Обсуждению его было уделено весьма много места, и, за исключением «Северной пчелы», это обсуждение было весьма лестное для автора. «Северная пчела», как мы знаем, с пеной у рта набросилась на Лажечникова. В целых трех статьях она, что называется, в клочки разносила роман. Булгарин был страшно задет отзывом «Отечественных записок» и «Библиотекой для чтения», которые называли Лажечникова первым русским романистом. Булгарину самому хотелось быть первым русским романистом. Критика начиналась со страшной брани за слог,

который, по мнению Булгарина, в «Басурмане» отвратителен.

«Как же можно быть великим и *первым* писателем, каким провозгласили г. Лажечникова «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки», без языка и слога! Как же можно быть великим писателем, не умея писать, то есть не зная грамматики и не владея слогом? Ведь мы не в киргизской степи и не можем довольствоваться бессвязным рассказом дикаря о подвигах какого-нибудь удальца, рассказом, от которого в киргизской степи требуется только, чтоб он сократил время, пока изжарится конское мясо! Мы народ образованный, требуем искусства, а нет искусства без первоначального механизма» (№ 46).

Нужно заметить, что слог Лажечникова, именно вычурность и затем своеобразная орфография составляли предмет нападок даже дружелюбно относившихся к нашему автору критиков. Нам нельзя об этом судить, потому что если слог Лажечникова и кажется нам вычурным, но ведь спрашивается, слог какого другого писателя тридцатых годов не кажется нам вычурным? Слог этого же самого Лажечникова в позднейших его произведениях старческого возраста гораздо менее вычурен. И если старик проявил такую восприимчивость, если под влиянием упрощения слога всей литературы сороковых и пятидесятих годов шестидесятилетний старик меняет и свой слог, то не ясно ли, что вычурность слога первых его произведений главным образом есть вина времени. Что же касается правописания Лажечникова, то оно действительно было странное. Он писал: этех, этово, ево, моево, твоево, своево, какбудто, можетстаться, кактеперь, полагая, что такая орфография ближе подходит к разговорной речи. Но, конечно, один только Булгарин мог строить на этом свою «критику».

Ровно две трети булгаринской критики уделены нападкам на слог и орфографию. Затем идут известные уже нам нападки на святотатственное отношение Лажечникова к Иоанну и древней Руси и, наконец, оканчивается разбор «Басурмана» решительным заявлением, что «этот роман есть просто карикатура на избранную автором эпоху, написанная карикатурным языком и слогом».

В «Современнике» некий г. Д. Пр. посвятил «Басурману» большую статью, разбирающую роман почти исключительно с исторической точки зрения. Рецензент указывал разные, по его мнению, промахи автора, но в общем закончил все-таки следующим:

«Господин Лажечников новым сочинением своим еще раз доказал, как он ясно понимает существенные достоинства исторического романа. Избрав эпоху и лица, обозначенные в

истории только главными чертами, он предался изучению их во всех подробностях. Едва ли остался какой-нибудь источник, из которого бы он не почерпнул материалов. Летописи, сказания, песни, пословицы, поверья, предания, древности – все употреблено им в пользу его сочинения. Таким образом, роман его, между русскими сочинениями того же разряда, представляет что-то странное, не сходственное с тем, к чему мы привыкли» («Совр.», 1839 г., т. XIV, стр. 131).

«Библиотека для чтения» на этот раз без всякого ехидства отнеслась к «Басурману» восторженно.

Рецензент начинает речь с «литературных медведей» (очевидно, под этим подразумевается известная нам злобная рецензия Греча в «Сыне Отечества»), которые «хотели пожрать, между прочим, господина Лажечникова. Но толпа – мы поставляем себе в честь принадлежать к этой толпе – толпа его оценила, толпа его поняла и увенчала своей любовью; и между тем как толпа торжественно несла на плечах своих это прекрасное дарование, медведи карабкались с ревом на него, запускали в него свои лапы и старались стащить наземь, чтобы высосать кровь. Толпа спасла его своей любовью. Не бойтесь этих лесных хищников, даровитый русский романист.

«Басурман» роман исторический, быть может, слишком исторический, но эпоха, сюжет и примечательное искусство в группировке лиц и подробностей делают его крайне занимательным и любопытным. Первый том читается довольно трудно, что, вероятно, зависит несколько от орфографии автора, к которой нужно привыкнуть, как ко всякому нововведению, но с самого начала второго тома любопытство воспламеняется и погасает только на последней странице книги. Местами встречаются длинноты, которые немножко мешают свободному и быстрому ходу повести, но, за исключением этих немногих страниц, все остальное одушевлено высочайшей занимательностью. Положение главного действующего лица, столь странное, столь опасное, содержит участие читателя к нему в непрерывном напряжении; вам трудно расстаться с ним на одно мгновение; вам хотелось бы следовать за ним повсюду. Многие удачно введенные обстоятельства запечатлены той могущественной увлекательностью, которую только высокий талант может и умеет придать вымыслу. Можно было бы заметить, что первая часть действия, помещенная в Германии и Италии, не довольно тесно связана с той, которая происходит в России; но этот ничтожный недостаток легко может быть исправлен при втором издании. Более важное возражение относится к слогу: многие будут сожалеть, что в нем недостает

той отделки, того изящества, которые составляют душу всякого произведения изящной словесности, но это уже дело решенное: на слог господина Лажечникова надо согласиться, чтобы получить от него один из тех романов, которые украшают литературу. Не будем говорить о слоге: «Басурман» во всех других отношениях вполне удовлетворяет требованиям превосходного романа, и мы поздравляем русскую словесность с превосходным историческим романом, одним из замечательнейших, какой только случалось нам встретить в новейшей литературе» («Библиография», т. XXXII, отд. 6, стр. 10–11).

Еще более восторженный отзыв дали «Отечественные записки», безымянный критик которых посвятил «Басурману» целых 3 листа. По мнению критика:

«Басурман» – явление, которому подобного не было ничего в произведениях других русских романистов. Большая часть из того, что до сих пор выдавалось нам под именем русского исторического романа, было или перефразированные выписки из «Истории» Карамзина и других исторических книг, или черты из «Опыта о русских древностях» господина Успенского; все это было вяло, сухо, бессвязно или шито грубой рукой, так что по швам видны были белые нитки. Один Лажечников понял совершенно поэзию русской истории и, воссоздавая дивные образы нашего XV века, успел остаться верным и поэзии и истории. Лица, им выведенные, – лица типические, стоящие вровень со своим веком и поэтически прекрасные; весь роман его – художественное целое, проникнутое одной идеей и романтически занимательное. Вот почему мы причисляем его «Басурмана» к разряду первоклассных творений русской литературы и представляем его нашим читателям как явление отрадное, какого не было у нас со времени появления на Руси «Бориса Годунова» Пушкина» («Отеч. зап.», 1839 г., т. 2, отд. VI, стр. 46).

Нам остается теперь *досказать* жизнь Лажечникова. Мы подробно останавливались на детстве его, заронившем в душу мальчика первые семена добра, подробно останавливались на отрочестве и первой молодости, воспитавших в нем горячую любовь к родине, говорили более или менее подробно о его первых произведениях, потому что интересно следить за первым полетом орленка, даже раньше, чем он научится надлежащим образом расправлять крылья; наконец, столь же подробно обсуждали три романа, составляющих фундамент славы их автора. Но жизнь Лажечникова после появления «Басурмана», хотя она продолжалась еще целых тридцать лет, достаточно обозреть самым кратким образом; достаточно бегло *досказать* эти последние тридцать лет жизни его, потому что и не жизнь это была, а только доживание, доживание жизни и таланта. Десятилетие с 1830 года по сороковой представляет собой кульминационный пункт жизни Лажечникова. «Последним Новиком» Лажечников сделал решительный шаг к своей славе. «Ледяной дом» был апогеем этой славы, «Басурман» тоже очень много симпатий привлек на сторону своего автора, но все-таки он, хотя и не отделен большим расстоянием от вершины, чем «Последний Новик», находится уже по ту сторону перевала. Л после «Басурмана» уже начинается жизнь под гору.

В служебном отношении, впрочем, Лажечников слегка преуспевал, но именно только слегка. В третий раз (в 1842 г.) поступив на службу, он вскоре был назначен тверским вице-губернатором. Человек, знающий, где раки зимуют, конечно, сумел бы «отличиться». Но Лажечников, несмотря на знакомства и связи, которые он имел, благодаря своей литературной славе, не только не «отличился», но, прослужив несколько лет в Твери, а затем через некоторое время назначенный в Витебск тоже вице-губернатором, в 1854 году вышел снова в отставку. Скоро, однако же, нужда опять погнала его на службу – он хотел дослужиться до полной пенсии. В новой своей должности – цензора петербургского цензурного комитета – Лажечников пробыл всего два года, с 1856 по 1858 г., и в чине статского советника (не важный результат 35 летней службы) вышел окончательно в отставку. Рассказ Панаева, – редактора «Современника», следовательно, человека мало склонного к идеализации цензоров, свидетельствует нам, как тяжела была для Лажечникова новая его служба, хотя не следует забывать, что 1856, 1857 и 1858 годы – это медовый месяц новой эры, наступившей после крымской

кампании, когда цензуре ни в коем случае не вменялось в обязанность давить литературу. Напротив того, желая по возможности прогрессивно обставить цензурное дело, правительство пригласило многих известных писателей. В это время поступил в цензора и Гончаров. И тем не менее, как мы знаем из рассказа Панаева, Лажечников сильно терзался своей должностью.

Относительно цензорской деятельности Лажечникова существует следующее сведение, сообщенное покойным Ливановым в «Современных известиях» 1869 года, по поводу предстоящего тогда пятидесятилетнего юбилея писательской деятельности Лажечникова:

«В последнее время, бывши цензором в Санкт-Петербурге, Иван Иванович Лажечников должен был читать роман Чернышевского «Что делать?». Как честный человек, он не мог посягать без собственной душевной боли на чужую мысль, и в то же время требования службы (как единственное средство жизни) налагали на него известные обязанности. И скольких мучений стоил этот роман И. И. Лажечникову! Он плакал, прося Чернышевского согласиться выпустить нецензурное (тогдашнего времени). Чернышевский плакал, защищая свое детище. Обоим было больно до слез. Оба они собирались, плакали всегда досыта и расходились до следующего раза. И это во все время цензирования романа. В каком первоначальном виде написан был роман Чернышевского «Что делать?», знает только маститый старик И. И. Лажечников» («Совр. изв.», 1869 г., № 119).

В том виде, как факт этот передан Ливановым, он, безусловно, неверен. Стоит только сопоставить цифры, чтобы увидеть, что Ливанов напутал. «Что делать?» печаталось в 1863 году, то есть пять лет спустя после того, как Лажечников оставил цензорскую службу, и писался в тюрьме, где Чернышевский сидел тогда по обвинению в государственном преступлении. Но если мы тем не менее привели этот факт, то потому, что Ливанов был довольно близок с Лажечниковым в последние годы его жизни, следовательно, в известной степени рассказ его все-таки имеет значение, именно он, как нам кажется, характеризует, как неловко было другу Белинского в роли «умерителя». Весьма вероятно, что Лажечников как-нибудь рассказывал Ливанову о своих цензорских терзаниях, а Ливанов, схвативши общий колорит, конкретные случаи перепутал. Предполагать же, что Ливанов взял весь рассказ из своей фантазии, было бы слишком жестоко для памяти покойника, который, правда, привирал, но не мог же ни с того ни с сего сочинить целую историю без всякой фактической подкладки.

Что касается литературной деятельности, то после «Басурмана» Лажечников в течение целых восемнадцати лет дал себя знать только двумя драмами: «Христиерн II и Густав Ваза» и «Дочь еврея», комедией «Окопировался» да крошечным отрывком из «Колдуна на Сухаревой башне». Неправильно было бы объяснить такую скудную деятельность одним утомлением таланта. Одна из главных причин этой скудости, несомненно, служба, не дававшая каких-либо живых впечатлений, не оставлявшая достаточно досуга. В доказательство: даже то немногое, что написано Лажечниковым с 1838 по 1856 год, когда Лажечников опять деятельно берется за перо, написано им, когда он был в отставке, а за время вице-губернаторства написана только крайне примитивная «Дочь еврея». Если сухой формализм тогдашней службы не повлиял на Лажечникова, когда он писал «Ледяной дом», то это была зато пора полного расцвета его таланта. Но период утомления таланта требовал более тщательного и подходящего подбора обстоятельств.

Нужно, впрочем и то, сказать, что начиная с конца тридцатых годов биографический материал о Лажечникове крайне скуден, так что, может быть, какие-нибудь другие причины дурно повлияли на талант нашего писателя.

Очень может быть, что его сильно обескуражила передрыга с «Опричником». Дело в том, что в 1842 году Лажечников написал белыми стихами драму «Опричник». Белинскому она очень нравилась, а Сенковский ее взял у автора для помещения в «Библиотеке для чтения»; но когда он отправил ее к цензору, тот ее решительно запретил. И только в 1859 году «Опричник» мог быть напечатан. Читая в настоящее время «Опричника», совершенно недоумеваешь, что в ней нецензурного. Нам, привыкшим к совершенно свободному обсуждению царственных особ, живших до Петра I, непонятна такая строгость тогдашней цензуры.

Строгость эта служит лучшим доказательством новизны приемов, употребленных Лажечниковым при обрисовке Иоанна Грозного, и следовательно, одним из «смягчающих обстоятельств» для больших недостатков этой драмы. Убедительнее всего оправдал слабость «Опричника» сам Лажечников в предисловии к отдельному изданию драмы, появившемуся в 1867 г. «Никто оспаривать не будет, что я первый замыслил вывести гигантскую фигуру Иоанна на сцену». Литературное пионерство, как и всякое другое, всегда задача чрезвычайно трудная, а главное – чрезвычайно неблагодарная. На сцене, впрочем, «Опричник» давался в 1867 году с успехом.

С другой исторической драмой Лажечникова, именно

«Христиерном II и Густавом Вазой», вышла курьезная история, до сих пор ставившая в тупик библиографов. В 1841 году в «Отечественных записках» появились первые три явления трагедии «Густав Ваза», под которыми было подписано: Лажечников. Вслед за тем в 1842, сначала в сборнике «Дагерротип», а потом и отдельно, появилась вся драма под заглавием «Христиерн II и Густав Ваза, драматический опыт в 4 актах, соч. А. Лажечникова». «Трудно было предполагать, – писал известный библиограф М. П. Лонгинов в «Атенее» 1858 г., – чтоб на заглавном листе этой книжки была пропущена опечатка в самом имени автора. Страннее всего, что журнал, поместивший за год до того отрывок из этой трагедии, не разрешил вопроса: Иван ли Иванович Лажечников написал ее или какой-нибудь его однофамилец? Причем журнал этот сказал, что «и то и другое, может быть, весьма вероятно» («Отечественные записки», 1842, № 9). Мы, с своей стороны, не беремся разрешить это обстоятельство». Еще страннее, прибавим мы от себя, что в тех же «Отечественных записках» Белинский, разбирая «Дагерротип», говорил о «Христиерне», нимало не сомневаясь в том, что он принадлежит автору «Ледяного дома». Когда же Лажечников не включил «Христиерна» в «полное собрание», то вопрос, действительно, был запутан окончательно, так что недоумение Лонгинова было вполне законное. Есть, однако же, данные распутать «это обстоятельство». Во-первых, драма посвящена «Александру Михайловичу Бакунину». Из воспоминаний Лажечникова о Белинском мы знаем, что Лажечников был очень дружен с семейством Бакуниных. А затем, мы в «Воспоминаниях» Пассек прямо находим, в одном из писем Лажечникова к обоим супругам, следующее место: «знаете ли что? Я пишу теперь трагедию, и удивитесь – стихами. Густав Ваза герой моей пиесы» («Русская старина», т. 19, стр. 436). «Обстоятельство», значит, решается окончательно.

«Скажем только, – говорит Лонгинов в той же статье, – что трагедия не много прибавляет к репутации Лажечникова, если и написана им». Скажем и мы то же самое. Но несомненно, однако же, что «Христиерн» несравненно лучше драм его: «Вся беда от стыда» (или «Дочь еврея»), «Горбун» и комедии «Окопировался», которые тем не менее Лажечников счел нужным поместить в полное собрание своих сочинений, между тем как «Христиерна» выбросил.

О «Дочери еврея» и «Горбуне» мы лучше ничего не скажем. Что же касается «Окопировался», то, как от водевиля, от него и требовать нечего. Поставленный в 1854 г. на сцену (см. Вольф, «Хроника Петербургских театров»), он имел успех.

«Колдуна на Сухаревой башне» появилось только 4 главки или письма, по которым ничего нельзя было предсказать относительно целого. Личность Ивана Долгорукова обрисована неверно, но Остермана весьма недурно.

Долгое молчание свое Лажечников прервал в 1856 г. напечатанием «Беленьких, черненьких и сереньких» в только что народившемся «Русском вестнике» Каткова, который тогда еще был очень беленьким и не метил еще в предводителя черненьких.

«Беленькими, черненькими и серенькими» Лажечников начал целый ряд воспоминаний, которые все читаются с большим интересом. Вслед за «Беленькими, черненькими и серенькими», написанными в беллетристической форме – как бы история какого-то Пшеницына, – но тем не менее, безусловно, автобиографического характера, последовало «Мое знакомство с Пушкиным», затем «Новобранец 12-го года», описывающий перипетии вступления нашего героя в ряды деятелей отечественной войны; затем в «Московском вестнике» 1859 г. «Заметки для биографии Белинского», которые местами полны захватывающего интереса. Через пять лет Лажечников в «Российском вестнике» 1864 г. поместил «Воспоминания о Ермолове», или, вернее, об Остермане-Толстом, и, наконец, в 1866 г. «Как я знал Магницкого». Последние две статьи написаны несколько запутано, старик автор постоянно сбивается с нити рассказа, начинает одно, не кончивши другого, повторяется и так далее. Но все-таки они читаются с интересом, и самая разбросанность их и отсутствие системы придают им особенно добродушный характер. В общем весь этот цикл воспоминаний составляет лучшее, что писал Лажечников за вторую половину своей литературной деятельности. Так и отражается в них ясная, чистая и незлобивая душа добродушного старичка-автора, без тени какого-либо брюзжания, столь свойственного людям, разговорившимся о времени, когда и они были солью земли. Написанным же чисто-беллетристически «Беленьким, черненьким и сереньким» еще большую прелесть и привлекательность придает эпическая простота и спокойствие, с которыми разработан сюжет.

Хорошо бы было, если бы Лажечников только и ограничился воспоминаниями, то есть вращался бы в сфере явлений, ему вполне знакомых. Но человек живой и впечатлительный, юноша у порога гроба, Лажечников не захотел возиться только со старьем и, снова усиленно взявшись с 1856 г. за перо, во что бы то ни стало захотел сказать свое слово и о злобе дня. Результатом этого явились два больших романа, один – «Немного лет назад», начатый в 1858 г. и выпущенный в свет в 1862 г., а другой –

«Внучка панцирного боярина», напечатанный во «Всемирном труде» 1868 г.

Лажечников имел полное право вмешаться в злобу дня, потому что едва ли было много молодых юношей, которые так близко принимали бы ее к сердцу, как 64-летний автор «Ледяного дома», когда он садился писать «Немного лет назад».

С чисто молитвенным восторгом относился он к новой эре, наступившей после крымской войны. Свидетельства Панаева, Пассек и Островского, общий дух его произведений достаточно выяснили нам Лажечникова со стороны его восприимчивости и чуткости ко всему хорошему и благородному. Как же должно было радоваться его доброе сердце при виде торжества гуманности и света над мраком и грубостью прежней эпохи, каким искренним благоговением должна была наполниться чистая душа его, всю жизнь жаждавшая правды и справедливости, при виде грядущей победы новых начал, выступавших именно под знаменем правды и справедливости для борьбы с армией зла.

Понятно вместе с тем, почему Лажечников, по летам человек старого поколения, должен был относиться восторженнее к новой эре, чем представители поколения молодого, хотя они и были дети этой эры. Человек все познает и ценит через сравнение. Вот почему молодое поколение, не знавшее старых безобразий, не могло так восторженно относиться к новому порядку, как старик Лажечников, помнивший не только николаевские, но и павловские времена. И мог ли разделять Лажечников тот скептицизм, который, в силу общего закона человеческой души желать всего лучшего и лучшего, вскоре заставил молодое поколение насмешливо относиться к российскому «прогрессу»? Мог ли понимать Лажечников недовольство Пироговым, он, который помнил Магницкого, мог ли Лажечников понимать недовольство той свободой, которой пользовалось русское слово в конце пятидесятих годов, он, которому наложили veto на невиннейшего «Опричника», мог ли, наконец, Лажечников понимать, что не всякий согласится быть владельцем фабрики даже с «вольнонаемными» рабочими, он, который семьдесят лет прожил при крепостном праве видел военные поселения.

Нет, ничего такого не в состоянии был понимать восторженный старик. Новая эра могла ему казаться только золотым веком, идеалом человеческих желаний и стремлений. Сердце его через край было наполнено безграничным благоговением и благодарностью.

И вот этот-то восторг и благоговейное отношение к началам русского «прогресса» и составляет основу романа «Немного лет назад». В нем столько наивной веры в то, что эти начала насадят

рай земной, с такой серьезностью автор вам доказывает на многих страницах вред сословных предрассудков, с таким жаром обличает взяточников, с таким восторгом проповедует, что следует быть добрым, а не злым, и, наконец, так глубоко убежден, что порок всегда наказывается, а добродетель всегда торжествует, что в общем именно эта азбучность вас трогает и умиляет. Разве неумилительно видеть человека, сквозь семьдесят лет жизни пронесшего веру, хотя бы и очень примитивного свойства, в добро и справедливость на земле.

Но понятно, что эта же самая наивность, которая так симпатично обрисовывает душу Лажечникова, не могла не отозваться самым неблагоприятным образом на романе, который вышел образцом прописной морали, паточного взгляда на жизнь и чисто маниловской прогрессивности.

Критика того времени не только не осталась довольна романом как литературным произведением, но даже далеко не вся прониклась верой в искренность прогрессивности автора. Было высказано даже такое несправедливое и неосновательное предположение, что Лажечников хотел *подладиться* к молодому поколению. Конечно, это говорили люди, плохо знавшие жизнь и литературную деятельность Лажечникова. Но зато авторитетнейший из тогдашних журналов – «Современник», вполне правильно оценивши самый роман, с большой симпатией отнесся к добрым намерениям автора.

«Несмотря на многолетний период своей литературной деятельности, – говорилось в рецензии, – несмотря на то, что в течение этого периода много воды утекло, г. Лажечников всегда оставался верен тем чистым и честным убеждениям, которые проходят сквозь всю его литературную деятельность. Пылкий и восприимчивый юноша (?) двадцатых годов, восторженными красками изображавший любовь пламенного старца Волынского к цыганке Мариориче, он сделался пылким и восприимчивым старцем, восторженными красками изображающим радость, по поводу разных предпринимаемых правительством мер для блага отечества. Добро и зло, проходившие мимо его, не оставляли его равнодушным: первое встречало все его симпатии, второе волновало его. С этой стороны г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов».

Вслед за тем рецензент восхищается той «драгоценной искренностью», которой «в замечательной степени обладает г. Лажечников. Он весь виден в своих произведениях; читая его, можно не соглашаться с его образом мыслей, можно даже находить его несколько наивным и отсталым, но нельзя не

сказать: это писал честный человек; это писал человек, которому нечего скрываться и не для кого рядиться в шутовские одежды притворных радостей и своекорыстного, скоро удовлетворяющегося либеральничанья» («Современник», 1863 г., № 1–2, стр. 111).

Что сказать о другом романе Лажечникова, – «Внучка панцирного боярина», в котором он старался задеть один из вопросов дня – именно вопрос польский? Лучше всего ничего не сказать. У каждого писателя есть свой *lapsus calami*. У Белинского была «Бородинская годовщина». Простим же и Лажечникову его «Внучку панцирного боярина», писанную притом, однако же, в простоте душевной. В середине шестидесятых годов, под влиянием только что кончившегося польского восстания, почти во всем русском обществе господствовала узкая ненависть к полякам. Лажечников поддался ей, следовательно, забыл обязанность писателя стать выше предрассудков и слепых страстей – в этом его вина.

Последним произведением Лажечникова была выкроенная из «Басурмана» драма «Матери-соперницы», писанная за год до смерти. Так же как и все почти драматические произведения Лажечникова, она менее всего усиливает его славу.

В заключение нашего очерка расскажем про юбилей пятидесятилетней литературной деятельности Лажечникова, который праздновался в Москве 3 мая 1869 г. Собственно говоря, это был только пятидесятилетний юбилей со времени вступления Лажечникова в члены Общества любителей словесности. Писать же он начал, как мы знаем, в 1807 году. Устройство празднования взял на себя Артистический кружок. Празднование вышло очень характерное. В чем заключалась эта характерность – объясним дальше, а пока изложим ход юбилея, на котором сам юбиляр, вследствие болезни, не мог присутствовать, а присутствовала его жена и дети. Скажем кстати, что, лишившись в 1852 г. первой жены своей, Лажечников в следующем (1853) году женился вторично на Марье Ивановне Озеровой. Несмотря на значительную разницу лет (Лажечникову было при женитьбе 61 год, а госпожа Озерова была совсем молодая девушка), Лажечников, по словам г. Нелюбова, «нашел в своей второй жене нежную и безгранично преданную подругу, которая сделалась самой благодетельной и самоотверженной опорой состарившегося писателя. От этого брака родились у Лажечникова один сын и две дочери, оставшиеся наследниками его славного имени».

Празднование происходило в городской думе.

Когда прибыло семейство юбиляра – жена его и дети, – оркестр исполнил торжественный марш, и вслед за тем А. Н. Островский открыл заседание речью, главное содержание которой уже известно нам; после чего попечитель Московского округа, князь Ширинский-Шихматов, сказавши от себя несколько приветственных слов, прочитал письмо министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, извещавшее юбиляра о пожаловании ему «во внимание к почетной известности в литературе» бриллиантового перстня. Затем попечитель же прочитал рескрипт, данный на имя Ивана Ивановича Его Императорским Высочеством Наследником Цесаревичем – ныне царствующим императором Александром III:

«Иван Иванович!

Узнав о совершившемся пятидесятилетии вашей литературной деятельности, вменяю себе в удовольствие приветствовать вас в день, предназначенный к празднованию этого события. Мне приятно заявить вам при этом случае, что *Последний Новик*, *Ледяной дом* и

Басурман, вместе с романами покойного Загоскина, были, в первые годы молодости, любимым моим чтением и возбуждали во мне ощущения, о которых и теперь с удовольствием вспоминаю. Я всегда был того мнения, что писатель, оживляющий историю своего народа поэтическим представлением ее событий и деятелей, в духе любви к родному краю, способствует к оживлению народного самосознания и оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому обществу. Не сомневаюсь, что и ваши произведения, по духу, которым они проникнуты, всегда согласовались со свойственными каждому русскому человеку чувствами преданности Государю и Отечеству и ревности о благе, о правде и чести народной.

Препровождаемый при сем портрет мой да послужит вам во свидетельство моего уважения к заслугам многолетней вашей деятельности».

По прочтении рескрипта, выслушанного стоя, оркестр заиграл гимн «Боже, Царя храни». Затем началось чтение профессором Московского университета Н. А. Поповым адресов, письменных и телеграфических поздравлений. Приведем наиболее характерные. Первыми приветствовали юбиляра соотечественники – городское общество города Коломны:

«Что звезды красят небо, то заслуженные таланты и с высокими достоинствами граждане красят всякое отечество. Мы, жители Коломны, твои однокорожане, гордились доселе тем, что среди нас родилось светило науки – покойный Филарет московский; ныне будем гордиться и тем еще, что из нашего города, и притом из среды купеческого сословия, вышел заметный представитель литературы русской и достойный слуга Царя нашего на всех государственных должностях, ему поручаемых. Мы чтим в твоём лице лучшего гражданина города Коломны и подносим тебе, вместе с кубком, русские хлеб-соль из колыбели твоей родины. Прими их от нас как знак того глубокого уважения, с каким имя твое будет навсегда сохранено в летописях города Коломны».

Затем было прочитано замечательное письмо – приветствие от Писемского.

«Иван Иванович! Вы принадлежите еще к писателям

пушкинского времени и посреди их вы являетесь лучшим русским историческим романистом: за вами тогда еще было усвоено название, что вы наш «Вальтер Скотт». Успех ваших романов был всеобщий: вся тогдашняя грамотная Россия прочла их и восхищалась ими. Такую общую симпатию, я полагаю, они возбудили не столько новостью этого рода произведений и не тем, что в них описывались исторические происшествия и исторические лица, сколько другим, гораздо более прочным качеством – это всюду проникающими в них вашим поэтическим мировоззрением и тем добрым и мягким колоритом, который разлит во всех изображаемых вами картинах и присущ даже всем выводимым вами лицам. Кто не помнит этой кроткой племянницы пастора, едущей в жаркий день по пустыням Лифляндии и которой потом слепец предсказывает высокую будущность русской императрицы! Кто не знает наизусть вашей песенки:

Сладко пел душа-соловушек
В зеленом моем саду.

Я до сих пор не могу забыть того поэтического впечатления, которое произвела на меня глава *Тельник* в вашем романе *Ледяной дом*, где пылкая Мариорица посылает с груди своей крест предмету своей преступной страсти. (Писемский тут перепутал Анастасию из «Басурмана» с Мариорицей.) Даже сам Вольтер, говоря уже об его пятидесятилетнем возрасте, как бы очищен вами и от всех других, гораздо более существенных недостатков человеческих: он является у вас молодым, благородным и влюбленным!

Но, при всей вашей склонности изображать добрую и хорошую сторону души человеческой, вы, в лучших ваших произведениях, совершенно избавились от несвойственной русскому человеку мечтательности Жуковского. Перед вашими товарищами-романистами вы имели огромное преимущество: добродушного Загоскина вы превосходили своим образованием и уж, разумеется, как светоч ничем не запятнанной честности, горели над темной деятельностью газетчика Булгарина; в ваших произведениях никогда не было бесстрастных страстей Марлинского и его фосфорического блеска, который только светил, но не грел; ваша теплота была

сообщающаяся и согревающая! Вы ни разу не прозвучали тем притворным и фабрикованным патриотизмом, которым запятнал свое имя Полевой, и никогда не рисовали, подобно Кукольнику, риторически ходульно-величавых фигур. Всех их, смею думать, вы были истиннее, искреннее и ближе стояли к вашему великому современнику Пушкину, будя вместе с ним в душе русских читателей настоящую и неподдельную поэзию.

Престарелый Федор Глинка в своем приветствии вспоминал, «как возникла, росла, крепла и мужала заслуженная известность» Лажечникова, свидетельствовал, что «Новик» был, действительно, явлением новым и скоро стал другом стариков и юношей, а в «Ледяном доме» как-то тепло было многочисленным читателям».

Погодин старался убедить юбиляра, что «признательность соотечественников» должна служить ему «утешением в перенесенных скорбях, неразлучных с ней и вообще с человеческой жизнью». Вместе с тем маститый историк, очевидно знакомый с финансовым положением Лажечникова, утешал его, что «касательно судьбы семейства, детей» своих он «может быть совершенно спокоен, так как они остаются на попечении не только семейства, но и всего русского общества».

Тверитяне, «полные воспоминаний о литературной, общественной и административной деятельности» Ивана Ивановича, слали ему «свой привет и поздравление». Петербургский клуб художников приносил «свой сердечный привет старейшему из русских литераторов». Поздравлял затем юбиляра, через князя Черкасского, петербургский отдел Славянского комитета. «Проживающие в Кронштадте почитатели таланта» Ивана Ивановича «и честного гражданского направления его» поздравляли его с полувековым юбилеем и «с живейшей благодарностью» вспоминали «о покровительстве, оказанном незабвенному Белинскому на первых порах его литературной деятельности». Члены педагогического совета владимирской гимназии просили А. Н. Островского передать юбиляру, что «все они живо помнят благотворное на себе влияние прекрасных его творений, и все в этот многозначительный для него день приносят ему искреннее благодарение за благородные чувства, которые не бесследно рождались в их душе при чтении прекрасных его произведений». Воронежская гимназия просила старшин артистического кружка «выразить достойнейшему юбиляру от лица наставников и воспитанников гимназии искреннее поздравление, глубочайшую благодарность за воспитание многих поколений в чувствах любви и преданности ко

всему русскому и за пример собственной, строго-честной и поучительной жизни». Поздравляли 5-я петербургская гимназия, тамбовская, смоленская. Особенно тепло приветствовала юбиляра тверская гимназия:

«Учащие и учащиеся тверской гимназии, в которой живо сохраняется память о вас, как о бывшем ее директоре, шлют вам искренние благожелания и приветствия. В памяти каждого из нас и более взрослых наших воспитанников, как у каждого образованного русского человека, хранятся ваши литературные произведения, дышащие чувством любви к родине. Все в Твери постоянно живо напоминает о вас: гимназическая библиотека, многие книги которой хранят ваши заметки, сделанные, может быть, во время самого создания некоторых ваших произведений; кроме гимназии – сам город Тверь, в котором вы долго были главным помощником начальника губернии, даже самые окрестности Твери, описанные вами в ваших прекрасных, поэтических созданиях. Некоторые из гимназической семьи и вообще жителей города, имевшие счастье пользоваться вашей беседой, с удовольствием вспоминают литературные вечера, на которых слышали чтение *Опричников* и других ваших произведений, в то время, когда ваш голос из первых начал обличительно раздаваться в нашей литературе, с поэтической верностью воспроизводя наши исторические эпохи и их деятелей».

Редакция «Сына Отечества» поздравляла юбиляра с пятидесятилетием «литературной деятельности, которая навсегда останется в истории русского образования и в памяти всех, кому оно дорого». Редакция «Всемирного труда» констатировала, что юбиляр «долго и честно служил родному слову и русской мысли и на этом поприще приобрел себе искреннее сочувствие русской публики и русской литературы».

После поздравительных писем и телеграмм г. Ливанов прочел довольно обстоятельный очерк жизни юбиляра, любопытный тем, что состоит, главным образом, из автобиографической записки самого Лажечникова. Затем, после небольшого антракта, была исполнена увертюра, сочиненная в честь юбиляра старшиной артистического кружка г. Гер-бером, и читались отрывки из сочинений Лажечникова гг. Чаевым, кн. Кугушевым и артистами гг. Вильде, Самариным и Васильевой.

Закончился вечер речами редактора «Современных известий» Гилярова-Платонова и поднесением подарков юбиляру. Подарки (все серебряные) были следующие: от города Коломны кубок; от

него же блюдо с надписью: «Честному мужу честен и поклон от гор. Коломны»; от него же солонка; от Московского артистического кружка большой, почти в аршин величиной серебряный, вызолоченный ковчег, в котором положены были сделанные из серебра XI томов сочинений Лажечникова. На ковчеге сделана между другими следующая надпись: на одной стороне Московский артистический кружок «чествует дарование, честное служение отечеству и патриотизм»; от издателей «Русского вестника», гг. Каткова и Леонтьева, – большая массивная стопа из серебра; кубок от «Всемирного труда»; кубок от газеты «Новое время»; кубок от «Современных известий» и кубок, кружка и поднос от города Твери.

От читателя, конечно, не ускользнул основной колорит юбилея, на подробностях которого мы нарочно останавливались, потому что они характерны. Если мы, при разборе произведений Лажечникова, дорожили отзывами и находили, что они устанавливают действительное значение и положение нашего романиста в русской литературе, то еще более драгоценный материал в этом отношении дает нам юбилей, который является собранием множества рецензий, одновременно высказанных. Правда, высказался на юбилее, за двумя-тремя исключениями, почти один только из литературных лагерей. Но именно это-то и характерно, что не все литературные лагеря захотели принять участие в чествовании автора «Ледяного дома». Кто, в самом деле, чествовал Лажечникова? Большей частью лица официальные, гимназии, журналисты «охранительного» лагеря. Что они говорили в похвалу Лажечникову? Почти все выдвигали на первый план его *«патриотическое»* направление.

Передовая петербургская журналистика и публика, представляемая ею, в юбилее Лажечникова участия почти не принимала. Такой факт с первого раза поражает и как бы ослабляет ту симпатичную обрисовку, которую мы старались придать ансамблю творческой деятельности Лажечникова. Но на самом деле тут никакого противоречия нет. Нужно припомнить время, когда праздновался юбилей, и дело выяснится нам в надлежащем свете. Юбилей происходил в конце шестидесятых годов, когда шла отчаяннейшая ломка прошлых идеалов и сбрасывание с пьедесталов прежних кумиров. Не только Лажечников, писатель сравнительно второстепенный, но и Пушкин, и Лермонтов, наконец, вся блистательная плеяда сороковых годов, все это подвергалось жестокому отрицанию. Если бы открытие памятника Пушкину происходило не в 1880 г., а в 1869 г., то нет сомнения, что он не был бы таким всеобщим

праздником русской интеллигенции и привлечь бы как раз именно те же самые элементы, которые чествовали Лажечникова, как раз те же элементы, которым в Пушкине, по преимуществу, нравится «Чернь», «О чем шумите вы, народные витии» и другие стихотворения в этом роде. В свою очередь, и петербургская журналистика именно из-за этих стихотворений, забывая все остальное, созданное Пушкиным, и не приняла бы участия в чествовании Пушкина, если бы оно происходило в шестидесятых годах. Что мы не высказываем одни только ничем фактическим не подтверждаемые предположения, можно доказать юбилеем Писемского. Даже в 1875 г. вражда к людям, не совсем в унисон поющим с нами, была еще настолько сильна, что чествование такого крупного и первоклассного писателя, как автор «Тысячи душ», вышло очень односторонним.

Одностороннее празднование юбилея Лажечникова обязывает нас закончить наш очерк так же, как мы его начали, – подчеркиванием внешнепатриотического направления автора «Новика». По-видимому, правильно выдвигали на первый план директора гимназий и редакции изданий вроде «Современных известий» «патриотизм» Лажечникова. Они имели известное право видеть в «Новике» и «Ледяном доме» отражение своего духа и своих мыслей.

Но право только внешнее. Если действительно мы у Лажечникова находим полный букет идей шаблонного патриотизма, то все-таки, как это уже развито более подробно в нашем вступлении, они согреты таким страстным огнем убеждения и исповедуются с такой искренностью, что только с большой натяжкой г. Катков, поднося кубок, зачислял юбиляра в ряды «своих». Ведь если Белинский в 1842 году, следовательно уже во второй период своей жизни, когда он с краской на лице вспоминал статейку о «Бородинской годовщине», если Белинский этого периода, то есть человек, под направлением которого с радостью подпишется всякий передовой человек и нашего времени, писал про Лажечникова: «...он принадлежит к числу тех писателей, которых влияние особенно сильно на нравственное развитие современного им общества»; да, если таково мнение Белинского об ансамбле творческой личности Лажечникова, то неужели же можно серьезно зачислить автора «Новика» в ряды так называемых «патриотов своего отечества». Нет. Лажечников патриот искренний и пламенный и если современному человеку нельзя у него заимствовать содержание его понятий о патриотизме, то можно зато научиться у него глубине и полноте самого чувства любви к родине.

В заключение приведем слова Пушкина из письма его к

Лажечникову: «...поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа (*«Ледяной дом»*) будут жить, доколе не забудется русский язык». Приводя эти слова, мы не желаем задавить читателя авторитетом Пушкина. Мы только этим еще раз хотим напомнить ему об обязательности исторической критики при знакомстве с писателями прошлого, той самой исторической критики, без которой не будет вполне понятен и сам Пушкин. Читая Лажечникова, пусть читатель не вменяет ему внешних недостатков, обусловленных вкусами того времени. Пусть отделяет *суть*, пусть ищет правды не внешней, а психологической, – и, несомненно, он и в *«Новике»*, и в *«Басурмане»*, уже не говоря о *«Ледяном доме»*, найдет много весьма замечательного.

Недолго жил Лажечников после своего юбилея. 26 июня 1869 г. он тихо умер. В завещании своем он написал: «...состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранить в своей чистоте».

notes

Настоящий очерк был написан С. А. Венгеровым к собранию сочинений И. И. Лажечникова, изданному Товариществом Вольфа в 1913 г.

«Воспоминания» печатались еще при жизни Лажечникова.

Г-жа Пассек едва ли сообщает верные сведения о первой жене Лажечникова. Прежде всего, не думаем, чтобы была верна история с похищением ее. Первая жена Лажечникова, по словам г. Нелюбова, имевшего в своем распоряжении некоторые автобиографические материалы, была «бедная, но замечательно красивая девушка, воспитанница графа Остермана-Толстого». Если бы Лажечников действительно похитил ее, едва ли Остерман продолжал бы с ним дружеские отношения, а между тем мы знаем, что через год после свадьбы (она произошла в 1819 г.) Лажечникова Остерман рекомендовал его Магницкому.

Может быть, не совсем точно и остальное, сообщаемое о первой жене Лажечникова. По крайней мере, г. Нелюбов сообщает, что «брак этот был вполне счастливый и омрачался только смертью детей, которые все умирали в самом раннем возрасте» (Русск. вест. 1869 г., № 10, стр. 579).